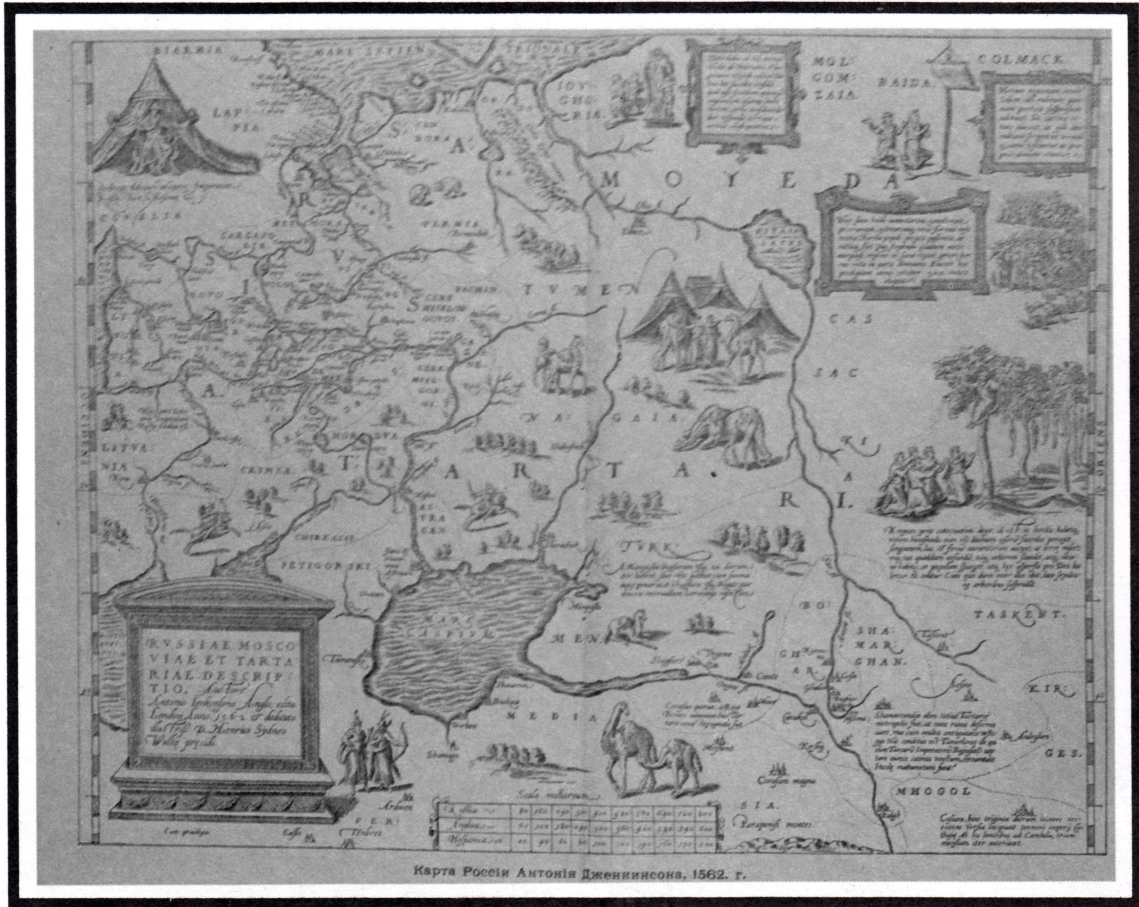


УРАЛЬСКИЙ ISSN 0134 - 241X

Энегонбим

3•97





Карта России Антония Дженкинсона, 1562. г.

Карта России Антония Дженкинсона. XVI век.



Русское дипломатическое посольство. XVI век.
 Читайте на стр.71 очерк Сергея Белобородова «Всадник на белом коне».

Редакция:
 Герман ИВАНОВ
 (главный редактор),
 Юний ГОРБУНОВ,
 Сергей КАЗАНЦЕВ,
 Анна КОСТРИКОВА
 (художественный редактор),
 Юрий ШИНКАРЕНКО
 (заместитель главного редактора),
 Леонид ШУНЯЕВ

УРАЛЬСКИЙ следопыт



УЧРЕДИТЕЛИ –
 СОЮЗ
 ПИСАТЕЛЕЙ
 РОССИИ,
 ТРУДОВОЙ
 КОЛЛЕКТИВ
 ЖУРНАЛА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
 Виктор АСТАФЬЕВ,
 Владислав КРАПИВИН,
 Станислав МЕШАВКИН,
 Николай НИКОНОВ,
 Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
 Геннадий ПРАШКЕВИЧ,
 Борис СТРУГАЦКИЙ

Компьютерная верстка:
 Эдуард Киселев

Адрес редакции:
 620142, ЕКАТЕРИНБУРГ,
 ул. ДЕКАБРИСТОВ, 67
 Телефон редакции:
 (3432) 224-501

Рукописи принимаются
 перепечатанными
 на машинке через 2 интервала,
 60 знаков в строке,
 28-30 строк на странице.
 Рукописи не рецензируются
 и не возвращаются.

По вопросам подписки
 и доставки обращаться
 в районные отделения
 "Россвязьинформа".

Бракованные экземпляры
 отправлять
 в ИПП "Уральский рабочий".

Рег. № 441 от 13.12.90.
 Подписано к печати 24.08.97.
 Формат бумаги 84x108/16.
 Бумага газетная.
 Печать офсетная.
 Усл. печ. л. 8,4.
 Уч.-изд. л. 18,6.
 Усл. кр.-отт. 11,76.
 Тираж 5000.
 Заказ № 184.
 Все претензии по ошибкам в тексте
 предъявлять
 редакции журнала "Уральский следопыт"
 Отпечатано с готовых оригинал-макетов
 на ИПП "Уральский рабочий"
 620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
 Слайды на 1-4 стр. обложки
 Николая ПЕРЕВЫШИНА

© "УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ", 1997г.

В номере: 3 '97

Слово — слови Олег ПОСКРЕБЫШЕВ	2
Бесприютная Александра Юний ГОРБУНОВ	6
Краеведческая копилка	12
Православие — неожиданный ракурс Борис БЛЕСКИН	14
Поэзия. Война пришла к моим воротам Венедикт СТАНЦЕВ	16
Оба берега реки Алексей ИВАНОВ	17

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

Марс-39 Василий ЩЕПЕТНЕВ	27
Заочный КЛФ Геннадий ПРАШКЕВИЧ	55
Оба берега реки — (Продолжение) Алексей ИВАНОВ	59
Молитва пани Ядвиги Валерий ПРИВАЛИХИН	68
Всадник на белом коне Сергей БЕЛОБОРОДОВ	71
Краеведческая копилка	74
Забавы «толстых» Станислав КОСОЛАПОВ	75
Пришелец из третичной флоры Алексей КОЖЕВНИКОВ	79

ЖУРНАЛ ОСНОВАН
 В 1935 ГОДУ.

ВОЗОБНОВЛЕН
 В 1958 ГОДУ.



Олег ПОСКРЕБЫШЕВ

С Л О В О - С Л О В И ! !

Да, говорят: «Слово не воробей: вылетит — не поймаешь».

Но я — о слове другом: не о том, которое вылетело, а напротив, — которое еще не молвлено... О слове долгоискомом, труднопроходимом. И пусть еще говорят, что мысль изреченная есть ложь, однако говорится такое, мне кажется, лишь от нашего неумения, нежелания или бессилия найти точное, соответствующее мысли слово.

Но когда ты вникаешь в слово и служение ему сделал своею судьбою, то все более начинаешь убеждаться, что оно подчас несет в себе не только духовную, но даже и материальную силу. Испокон известна его эстетическая суть. Но эта вера в заговоры, в гаданья, в присуху, боязнь дурного слова и благодарение за слово доброе порою несет в себе как бы некую физическую основу. Не случайно в сокровищнице народной мудрости, в словарях пословиц и поговорок неисчислимо множество таких речений, которые поистине «не вырубить топором». Да, слово по своей обязанности и должности вроде бы должно действовать на нас только через разум или эмоциональные струны, то есть на наше духовное состояние. Но порою эта сила столь велика, что как бы даже переходит в подлинно материальную суть. Вот именно:

словом можно и окрылить, и согреть («Доброе слово до зимы греет!»), но и убить.

В этой беседе я поставил себе задачу: поговорить всего лишь о нескольких словах. И начать хочу с сочетания, которое вы, конечно, слышали. Это — д а р с л о в а или д а р р е ч и. Что означают эти сочетания, объяснять, я думаю, нет необходимости.

Но вот на что хочется мне обратить ваше внимание.

Человеку в жизни дается не мало даров. Возьмите зрение, наши глаза, наши очи — великое чудо и великая мука, когда человек зрения лишен. И все же не говорят: «Дар зрения». Или взять слух, эту счастливую способность внимать стоголосозвучающему миру, который вокруг нас. Однако не прижилось: «Дар слуха». А осязание, обоняние, а сама нервная система! А великое чудо — наш разум, наша способность осмысливать жизнь!.. И просто позорительно, что, богатый множеством даров, человек только способен говорить обозначил этими удивительными созвучиями: «Дар слова», «Дар речи».

О, как надобно, значит, относиться к этому светлomu и священному дару (наверно, нет необходимости расшифровывать смысл изречений), и как беречь этот дар, чтобы не обратить его в словотатство или словоблудие, в ту сло-

воохотливость, которая подчас превращается в пустопорожнюю трату слов, в словопохотливость, когда слово перестает беречься и забывается его родословная!

Дар речи, слово в народных речениях подчас сравнивается с самыми большими материальными ценностями. Отсюда идет: «Золотое слово, вовремя сказанное», или — «Слово — серебро, а молчание — золото» (тут мы слышим откровенный намек на необходимость взвешивать и ценить слово). Или еще: «Слово — олово». Мне раньше казалось, что в этой паре «работает» лишь созвучие, а сейчас думаю иначе. Видно, следует обратить внимание на саму плавкость металла, на его умение принимать различные формы, равное «плавкости» слова, его способности изменять свое значение.

Вот и пример.

Любопытный случай произошел со мною недавно. Иду по улице — вдруг навстречу мальчишка. Впрочем, ошибся: какой мальчишка?! Он, кажется, уже и дедушка. А мальчишка лишь потому, что в этом своем дедовом возрасте вдруг вздумал, — как это говорят? — «баловаться словом». Баловаться свойственно детям. Мне больно за слово, если им начинают баловаться (не для семейного круга) люди в пенсионном возрасте. При нынешней



спон-сорности и такое стало возможно, так что «сорность» полетела вовсю. Я не раз и не два с горечью и болью за язык говорил об этом. Этот дедушка-мальчик, видимо, все взял на себя (что вполне резонно) и естественно воспался.

«Вот вы все учите-учите других, — на высоких нотах, чуть ли не в истерике заголосил он (видно, давно готовился к встрече), — а сами-то! Недавно стихи опубликовали, в них пишете о душе человеческой — и вдруг слово «пажители». Да знаете ли вы, что такое «пажить»?! Это скотское кладбище. Посмотрите у Даля!..»

Человек, озлобленно выплюнув это, побежал, побежал, не дав мне возможности ответить хоть что-то.

Я шел... грустно улыбался... нежно повторял известные каждому школьнику пушкинские строчки про озеро: «...Меж нив золотых и пажителей зеленых оно синее стелется широко...»

Так вот, уже при Пушкине это слово означало луг, луга (хотя раньше, да, означало и падеж скота, и вытолоченный луг... Но «слово — олово», и многим словам волей человеческого, поэтического хотения суждено делать биографию. Уже весь XIX-й век использует слово «пажить» именно в сегодняшнем, поэтическом его значении. Вспомните Ивана Никитина:

И, тучных пажителей обильные плоды,
Стоят соломою покрытые скирды.

Народ никак не захотел, не смог слово «пажить» отдать на мертвечину. Вы слышите в «пажители» слова «пожиток», то есть «добро», а еще — «жизнь», «жито»... Житом же у крестьян испокон веков называют зерно,

способное дать новые всходы или подкрепить живые силы...

Так вот, я думал о мудром живом слове, о бедном встречном (я его жалею), который, «балуясь словом», ничего не захотел уразуметь... и как бы поневоле — в который раз! — думал про Даля, подвиг которого в служении слову можно сопоставить разве только с пушкинским.

А вы обратили внимание, что сама эта фамилия — Даль — укающая, даже волшебна. В своем великом словаре ее обладатель показал, что слова, собранные вместе, — не бездыханные кладбища: они живут, у них есть своя доля жизни. Слышите: даль! Даль!! Владимир Даль!!!

Ведать про язык — языковедение.

Ведать про людей — человековедение.

Язык и народ — это подчас одно единое, что надо ведать. О, какое это счастье — знать, ведать! А кто не ведает — тот невежда.

Вот и опять мы столкнулись со словом, о котором стоит сказать. В дальней дали оно означало всего лишь человека незнающего. Вспомним опять-таки Александра Сергеевича, который пишет про своего Онегина: «Он сердцем милый был невежда...»

Но что любопытно?

Народ и тут своим языковым чутьем уловил, что человек незнающий, неведающий, а особенно — не желающий знать, обычно лишен такта, духовной тонкости, учтивости; он подчас даже агрессивен, хамовит; он пошлеет и наглеет. Так слово «невежда» постепенно приобрело все оттенки, которые мы числим за ним сегодня.

И подобное движение в переименовании, в расширении или сужении значимости слов наблюдается постоянно, причем иногда

во вред, во зло нам самим.

Вот несколько примеров.

И в печати, и в эфире уже сплошь стало мелькать слово «теракт». Ну, скажите, чем не отражение жизни?! Взрывы, угон самолетов, насилия, заказные и прочие убийства, кровь, слезы... — это все вроде бы такие пустяки, что на два слова (террористический акт) даже времени и бумаги жалковато. Вот и появилось это — «теракт». Все стало проще, не так ли? И уже словно бы не так страшно. Дожили до одного теракта, забудем его, доживем (если доживем) до другого...

Или — по аналогии — совсем молоденькое словцо «остограммиться». Оно, вероятно, не у всех еще на слуху. Подумайте, подумайте о нем хорошенько! Создайте неологизмы: «офунтиться»... «окилогарммиться»... Взвесьте! И выйдет примерно вот что: «Да зря болтают и пугают, что-де страна спивается, вымирает, что дети дебилами рождаются... Вот мы остограммимся (словечко-то какое легкое, совсем беспечное, даже веселое словцо!), остограммимся, говорю, и продолжим всякие акты совершать...»

Еще пример. Знакомлюсь с человеком. Разговорились. Спрашиваю, чем он занимается. «Я художник, — говорит и грустно добавляет, — самодельный...» Ах, какая обида и горькая шутка над давнишней чиновничьей языковой придумкой! Самодельный художник... Вы только вдумайтесь: само-то ничего не делается! И насколько же более точен этот человек! Да, если говорить о мастерах в любой области, то они все — «самодельные». Без собственных творческих усилий, без созидания себя — нет другой



силы, которая сумела бы воспитать творческую личность. Никакие училища, академии, консерватории — ничто не поможет. Но и «самодеятельность» возможна лишь при наличии дарования и бесконечного подвижничества.

Дальше. Мне уже приходилось писать про название «Чернобыль». Произошло оно от слова «чернобыл», то есть полынь. Вроде всего-то черная былинка! Однако — полынь. И порою, повторяю, даже в кажущейся случайности звучания слова обнаруживается некая, прямо-таки пророческая закономерность. Не это ли произошло в данном случае? Сейчас, после трагедии, это слово воспринимается много иначе. «Быль» в нем — уже не былинка, а как бы временная отметка. Значит, и тогда, когда катастрофы еще не было, она как бы уже предполагалась. Как бы даже втуне действовала. И вот она разметала по белому свету смертную, черную пыль (Чернопыль), принесла всему живому мученическую черную боль (Черноболь).

Добавлю, что слова в этом плане, то есть с внутренними подсказками, встречаются гораздо чаще, чем нам кажется. Просто, произнося их, мы даже не замечаем этого.

Вот слово «скала». Слышите: оно само как бы лязгает, как бы скалится каменными скулами. Этот оскал грозил издавна многим мореходам. Немало Робинзонов познало оскаленные скулы скал. Да и сейчас скалолазы их ощущают. Но что любопытно: стоит в нем поменять местами слоги, то есть как бы разрушить жесткую окаменелость, и получится слово с совершенно иным эмоциональным смыслом: скала — ласка.

И уж коли о ласке заговорили, то сколько же ее слышится,

например, в названиях птиц, особенно в имени «ласточка». Это и ее плавание в синеве, и превращение в малую небесную точку (лас-точка), и эта ласковость, исходящая от уменьшительно-ласкательного суффикса! Поневоле поймешь, почему именно это слово взято в обиход людьми для выражения любви и ласки к ребенку, к милой женщине. Так уж оно устроено, славное слово, что малую звонкою точкой пластается в небе души и нежно-нежно касается самого сердца. Заметьте: касается... Отсюда и другое летящее имя ласточки — касатка, — тоже вошедшее в нашу эмоциональную палитру.

Вот мы неприметно и вошли в область человеческих отношений, о которых слов с чудинкой, с потайными ключами не меньше, чем о других сторонах бытия.

Послушайте:

В самых потаенных пластах
Дум нечаянных

Скипелось:

Слово **ревность** неспроста
Перевертыш слова **верность**.
В чем-то родственны слова...
Что-то тайно их связало...
Но дай Бог, чтоб их родства
Жизнь тебе не доказала!

Или вот еще словесные пары в их контрастно-перевертышной или иной близости: «дар — рад», «барство — рабство», или «лад — ладонь», а еще «кулак — ГУЛАГ»... Вы чувствуете сцепление смысла этих понятий, хотя никакой грамматике такое не поддается.

А вслушайтесь-ка в слово «одиночество»! Вроде тоже всего лишь случайная постановка звуков, без всякой языковедческой логики. Но какая мучительная боль навсегда прижилась в

этом слове! Я даже не стану объяснять, что именно слышится мне, а просто прочитаю стихи:

В самой крайней поре одиночества
Ты не так одинок еще — днем.
Тяжелее всего — это **ночество**,
Заключенное в слове самом.
Даже мыслью затронуть не хочется,
А попробуй-ка переживи
В одиночку все длинные **ночества**,
Злые ночи тоски по любви.
Не поется душе. Не клокочется.
Одиночество. Н о ч ь. Нелюбим.
А вернее, вся жизнь — это **ночество**,
Если ты беспросветно один.

Не могу не прочитать также строчки про великое, едва ли не главное в любом языке слово — слово «мать».

— Мать! — говорю и повторяю: —
Мать! —
Весомей слово можно ли сыскать!
Не зря любую зрелость испокон
Мы на Руси матеростью зовем.
Без матки в улье погибает рой —
Без матери семье не быть семьей.
А трудно мать живет иль налегке,
Расскажет матица на потолке.
Сама земля, припомните на миг,
По матери зовется — материк.
И родину зовем — Россия-мать,
Так что еще добавить, что сказать!

И я больно скорблю, что это нежное и прекрасное слово избили, испоганили, изнахратили так, что невыносимо видеть, в какую зловонную яму оно уронено. Вы, конечно, поняли, что я говорю про мат — про его злую, губительную для души и даже физически губительную силу. Люди, поверьте: ничего не происходит просто так. Сегодня сотрясает воздух злым матом. При этом он, так сказать, «заводится», ожесточается, убивает свою душу. Завтра он будет искать выход



ожесточившейся бездуховности и пустит в дело злые руки...

Не стану продолжать эту тему, но на примере слова «мать» хочу напомнить, что иногда слова в своей жизни и сами страдают, как живые существа. Таких многострадальных слов немало.

Не случайно же про иного человека говорят: «Он калечит речь... он уродует слова...» И не зря в свое время И.С.Тургенев, горячо ратуя за бережное отношение к языку, написал стихотворение в прозе, подчеркивающее силу и роль языка, его способность объединять людей в народ.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Не о сегодняшних ли днях сказал великий писатель?

Речь... слово... — бесценное народное достояние. Да что слово! Порою даже не слово, а его составная часть несут на себе великую нагрузку. Например, я возьму всего лишь приставку «со» и еще раз удивляюсь ее объединительной способности. Посмотрите:

Соболезнуем — боль разделяем,
Сострадаем — страданье берем.
На несчастье спешим с соучастьем
Подпереть человека добром.
По труду мой надежный сотрудник,
Верный спутник в спутье крутом,
Мы — сподвижники в ходе будней,
Сотрапезники за столом,
Не злорадствуя, злобы ради,

А сорадствуя тем, кто рад,
Я — сорадник твой, друг-соратник,
Сосчастливцев, счастливых мой брат!
Для соседства хочу вас собрать я
И для спевов в согласные дни,
Собеседники и собратья,
Совесельники-соловьи.
Не совместно ли мы против худа
И решали не сообща ль:
Узы дружбы союзом будут,
Как составом, летящим вдаль!

Вот на что способна одна лишь приставка!

А если сказать про слово «союз», которое прозвучало в концовке стихотворения и которым называется, называлась наша многонациональная страна, так в этом понятии как бы двойная скрепа: во-первых, сам смысловой корень «уз», означающий связь («узы дружбы», «узы братства», «брачные узы»), а во-вторых, — эта собирательная приставка «со»!

И, наконец, приходилось ли вам обращать внимание, что само слово «речь» («рек», «изрекать») как бы родственно со словом «речка» («река», «речной»...). «...Ах, текла и будет течь наша реченька, как речь!» Случайность? Не знаю. Однако в том и в другом случае та же плавность, искристость, то же стремление и движение вдаль... журчание... такое же вбирание текучих, живительных родников. Словом, храните-берегите, защищайте нашу речку-речь, не загрязняйте, не губите ее. И коли слово — это дар, так не думайте, что речь давалась и досталась нам даром. Взала и притекла! Нет, наши предки озвончивали и углубляли речевые стрежни, чтобы для нас она обернулась именно серебряными стру-

ями, как в той давней народной песне:

«На серебряной реке да на золотом песочке...» Стало быть, обращать ее в ничто, а пуще того сквернить-паскудить — тяжкое преступление.

Тема речи неостановима и бесконечна, как великая река; ей нет конца, как нет предела великому множеству слов и постоянному счастью словесных открытий для тех, кто хочет общаться со словом. Умение уловить жизнетворный пульс слова — это воистину великое счастье.

Народ всегда был чуток к слову, иначе он не создал бы такого чуда, как твой язык... как все языки.

И, заканчивая свое малое речение, я хочу прочесть строчки, в которых когда-то попытался раскрыть сущность имени нашей великой и многострадальной родины. Мы — россияне, и нам имя своей Земли не должно быть безразлично. (Мое раскрытие темы, разумеется, не претендует на научность. В скобках я лишь повторю, что сам язык беспредель в своей способности даровать творческие поиски и временами утолять творческую жажду у тех, кто основой жизни сделал **слово**.)

Почему тебя зовут — Россия? —
Родину застенчиво спросил я.
Мы душой светлы, кудрями русы,
Не поэтому ль от века — русы?!
Испокон плечисты мы и рослы,
Нам ли не по росту имя — россы!
Сколько нас ни жгли, ни убивали,
В рост мы шли и шли, не убывали;
Землю кровью щедро оросили...
Как не называться ей — Россия!



Юний ГОРБУНОВ

БЕСПРИЮТНАЯ АЛЕКСАНДРА

Что такое была наша удельная Русь? История говорит о ней или уничтожительно, или никак не говорит. Этаким междоусобный хаос, из коего предстояло собрать нечто цельное. Русь-Россия стремительно шла к монархической государственности. Словно бы сам господь Бог был ее поводырем. А он и был! Москва, еще не став политической столицей великого княжения, а будучи лишь «мелким хищником, из-за угла подстерегавшим своих соседей» (Ключевский), уже стала столицей русского православия. Поводырь-митрополит уже прочно обосновался в ней.

В начале XIV века московский удел был самым незавидным на севере Руси, владел лишь двумя городами: самой Москвой да Звенигородом. А в середине XV столетия на том же огромном пространстве не под рукой Москвы оставались только части Тверского, Ярославского да Ростовского княжеств.

Это ли не божий промысел! Все помогало Москве, все шло ей навстречу: географическое положение удела, «смиренная мудрость», хватистость и бесцеремонность ее князей... Да что там — и самое татарское лихо окзалось на руку Москве державной!

И все-таки оглянемся на Русь удельную. Не забудем хотя бы, что свою первую великую победу — на поле Куликовом — одержала именно удельная Русь. В пору Донского она еще ни формально, ни по сути не была единой державной. Уделы русские выставили полки еще по принципу федеративному — как самостоятельные княжества. Каждое имело свою отличку — свои образа и хоругви, свой стиль облачения и оружия, свой по-видимому еще языковой диалект, свои приемы брани, своих воевод и героев. Иные даже свою монету. У каждого удельного князя еще лежал за пазухой персональный ярлык на княжение, по-

лученный от великого хана Золотой Орды. Надо ли говорить о Новгороде, Пскове или Торжке — вечевых городах, вольных в одночасье признать или отвергнуть наместническую, номинальную, почти символическую власть того или иного князя.

И не грех будет нам не из зрительного зала, что стоя рукоплещет удачливой Москве, а из-за кулис исторической сцены глянуть на один из уделов в пору княжения на Москве Дмитрия Донского, а потом его старшего сына — Василия I Дмитриевича.

В тумане времен неясными силуэтами едва просматриваются несколько женских персонажей. И в их числе бесприютная Александра, жена удельного нижегородско-суздальского князя Семена Дмитриевича — фигуры более чем эпизодической.

Летописи не соизволили сообщить нам, ни чья она дочь, ни дату ее рождения. Семен, правда, мелькает тут, то там на подхвате у отца Дмитрия-Фомы. Да-да, того самого Дмитрия Константиновича, князя суздальского и нижегородского, что сначала с переменным успехом соперничал с тезкой своим московским за великий стол, а потом уступил да еще и отдал дочерей своих на Москву: младшую Евдокию — за великого князя Дмитрия, а старшую — за одного из первых бояр-воевод Миккулу Вельяминова.

Уступил он Дмитрию наверно не за так. Наверно в надежде, что берущий силу зять поможет ему прочно утвердиться на столе нижегородском. Этот молодой город при впадении Оки в Волгу, быстро нарастил мускулы и встал на перекрестке русско-мордовско-булгарских интересов. Все в его сторону с завистью поглядывали, и всем он, пограничный, позарез надобился. Не случайно еще при отце Дмитрия-Фомы стал столицей обширного княжест-



ва Нижегородского. Эту честь уступил ему ни кто-нибудь — древний Суздаль.

Братья Дмитрия-Фомы — Андрей и Борис — тоже домогались нижегородского стола. Но старший — Андрей — вскоре умер иноком, а вот против младшего — Бориса — и заручился Дмитрий в Москве поддержкой двумя своими дочерьми. Он и получил такую помощь: выдворил Бориса в его отчинный удел — Городец* и стал княжить в своем богатом волжском торговом и промысловом городе, предпринимая даже успешные походы на болгарских татар.

Едва ли не десятилетие оставалось чистым небо над Нижним и его княжеством. Князья держались своих уделов, люд торговал и ремесленничал. Говорят, что в здешних краях развились даже такие непростые ремесла, как литье колоколов и золочение по меди. Летописец свой завелся в Печерском монастыре. А кремль стал обзаводиться каменными стенами.

А в 1372-м, как сообщает Рогожский летописец, сам собой трижды ударил большой колокол на соборе св. Спаса. И пошла с той поры смута в Нижнем, едва ли не самими нижегородцами и вызванная. В 74-м побили горожане мамаевых послов. Потом вместе с московлянами ходили разорительным походом на мордву, привели в Нижний пленных и безжалостно, дико травили их собаками на волжском льду...

И пришла расплата. Нижегородцы опять вместе с московскими ратниками и воеводами, посланными великим князем Дмитрием, потерпели унижительное поражение от ордынского царевича Арапши. Симеоновская летопись сохранила нам повесть о побоище на реке Пьяне, где, кстати сказать, бесславно утонул один из сыновей Дмитрия-Фомы — Иван.

Теперь уже беспрепятственно был разорен и сожжен Нижний Новгород. Прах и обломки остались от икон и медью золоченых дверей св. Спаса. И это — только одно поражение в череде нижегородских неудач, сильно ослабивших княжество. Потешились здесь, поразжились и татары ордынские, и болгары волжские, и мордва, и даже новгородские ушкуйники. Вот наверно почему на поле Куликово князь нижегородский сумел послать только суздаль-

скую рать. Своя и городецкая, поредевшие и выбитые, нужны были на здешних границах.

Эти кровавые события перепугали старого князя Дмитрия-Фому. Против сильных и бесцеремонных соседей не спасали его ни собственные рати, ни помощь московского зятя. Такова судьба богатого приграничного княжества. Нос приходится всегда держать по ветру и вовремя становиться на сторону сильного.

Так и поступил престарелый князь, когда спустя два года после дмитриевой победы над Мамаем, отправился к Москве за отпущением нового золотоордынского царя Тохтамыш.

Русь уже не та была, что осенью 1380-го. Опять рассыпалась на уделы, и собрать ее сейчас воедино было непросто.

А Тохтамыш шел стремительно и вел войска несметные. И путь ему лежал мимо земель нижегородских. Отпустив часть войска на Москву, он сам позадержался в дороге. Не мог великий хан не послать киличеев к соседу и улуснику своему Дмитрию-Фоме и не спросить между прочим, не прогуляется ли с ним нижегородский князь до града Москвы, столь, говорят, богатого да славного неприступными стенами и белокаменными храмами? А если самому великому князю, велено было добавить посла, по его возрасту это не с руки, то сыновьям его Василию и Семену не сам ли христианский бог велит поклониться святым куполам? А и с сестрицей — великой княгиней московской — им повидаться бы не мешало.

Что мог ответить престарелый и немощный князь на эту неприкрыто фальшивую «любезность» басурманина? Сказать «нет», значит, обречь землю свою, ее города и села на невывалое разорение — судя по той силище, что вел с собой Тохтамыш.

А хан великий и не ждал ответа — еще чего! Он шел уже мимо земель рязанских, по дороге, услужливо торимой другим его соседом-улусником князем Олегом рязанским, тоже обреченным быть у хана на побегушках. И братьям Дмитриевичам — Семену и Василию — пришлось наяривать коней, догоняя хана.

А в эту пору в палатах своих нижегородских, как по покойнику, голосила Александра, сердцем чуя, что не к добру эта заполошная скачка Семена в Москву за ратью Тохтамыша. Что сулил и чем грозил хан свекору, она не знала, но чуяла, что в какую-то крутую переделку попал ее непутевый Семен, если вынужден с татарским войском идти под стены Москвы. Возьмет ее хан или отступится —

*Крайний город-крепость владими́ро-суздальской Руси на востоке. Здесь, в Федоровском монастыре скончался Александр Невский, возвращаясь из Орды. Ныне — районный центр Нижегородской области.



Семену и то, и другое не в радость. Ой, недоброе затеял Тохтамыш!

Но что она могла? В неведении, в предчувствии, в смертной почти тоске? Вся в слезах, простоволосая и неодетая, затворилась она в опочивальне с ближними боярынями. То испугленную молитву творили Богородице, пав на колени, то вдруг, оборвав, принимались ворожить, раскрыв гадальную книгу прямо на неубранной с ночи постели. Но ничего не успокаивало Александру. Наконец, позвав тиуну, велела ему нарядить на Москву гонца.

А у стен стольного града, когда подошли к нему Тохтамыш с князьями нижегородскими и всей его силой, уже вовсю шла безалаберная осада. Город, буквально брошенный великим князем и всевладыкой Киприаном на произвол судьбы и некоего, случайно оказавшегося в ее стенах, литовского князя Остея, толком не понимал, что к чему. Сколько сил у Тохтамыша? Какие у него намерения? Где великий князь Донской и его братанич Владимир Андреевич Храбрый? Всерьез намерены татары брать Москву или им надобно только с Дмитрием силами померяться? Паника, страх и пьяное отчаяние царили в его стенах. Боярам было не до того, чтобы стеречь свои погреба. А хватившему зелья — и черт не брат, не то что басурманин, коему два года назад русичи накрутили хвоста на Дону.

Ухарская пьяная ругань доносилась со стен. Татары тоже зло и бессильно пускали прицельные стрелы. Ждали ханского приказа.

А хан из кибитки не выходил, коня не требовал. А велел позвать князей-заложников пред очи его. Он плохо, но знал по-русски. Устало глядя на князей, просил их сказать московлянам, что не гоже вот так — кивнул из кибитки на стены — встречать вольного хана его улусникам, что не с горожанами пришел он биться, а князя Дмитрия поучить обхождению. А коли нет князя в Москве, так не к чему мергерам и стрелы расходовать. Пусть отворят москвичи. Посмотрю на Москву, хлеба-соли отдаю...

И глядя на то, как забегали у князей глаза, между прочим напомнил, что обратная дорога ему, похоже, прямо через Нижний предстоит...

Говорить под стенами выпало Семену. Василий рядом стоял. Что и как кричал, не запомнилось ему. Только слышал, как молчали стены, внимая брату великой княгини. Знал ли хоть, непутевый, что сестра Евдокия, едва

оправившаяся от родов, с целым выводком малолетних княжен и княжичей только-только успела уйти из Москвы накануне осады?

Тихо стало после слов его. И никто не знал, чем эта тишина взорвется. И тогда углан ханский остро ткнул Семена локтем и сказал сквозь зубы:

— Крест, крест целуй!

Уже не помня себя, дрожащими, липкими руками достал он крест нательный, поднял, сколько позволял гойтан, а потом коснулся губами.

Стены сразу ожили, загомонили всяко. Но хан, угланы и кашики, его окружавшие, исказили лица довольным смехом. Теперь откроют московляне свои главные Фроловские ворота!

То, что за этим последовало, перо описать бессильно. Повторим лишь слова летописной «Повести о Тохтамышше»: «...будто и не было Москвы, а только дым и земля почерневшая».

Еще десять лет минуло с той поры. Дмитрий-Фома скоро после тохтамышева набега скончался в Нижнем и успокоился в семейной усыпальнице св. Спаса. Нижний же надолго стал объектом взаимных притязаний князя Бориса и его племянников Семена и Василия по прозвищу Кирдяпа. Поглядывала в его сторону и Москва. Но пока был жив Дмитрий Донской, между ним и братьями Евдокии наладился некий родственный союз. Тохтамыш дает ярлык Борису, а братья, приведя к стенам рати московские, Бориса ссаживают и отправляют княжить в Городец.

Семеново семейство — дети с боярами — то и дело кочует из Суздаля в Нижний да обратно. А бесприютная Александра так та вообще не оставляет своего непутевого Семена одного: Семен в Орду, и она в Орду, Семен на Москву — и она с ним. Так и запомнила их летопись — в паре.

Но действительные мытарства Семена и Александры начались после смерти Дмитрия московского. Сын его великий князь Василий Дмитриевич, что называется, глаз положил на Нижний Новгород. В 1392 году, будучи в Орде, он за большое золото-серебро (которые так надобились Тохтамышу в борьбе с опасным соперником — Тамерланом) просто-напросто купил ярлык на Нижний, презрев наследственные вотчинные права нижегородских и суздальских князей. А заодно и еще несколько городов-княжений: Городец, Муром, Мещеру, Тарусу.



По пути из Орды он даже не заехал в Нижний, а распорядился им как собственностью, за которую заплачено. Именитый боярин, ко его летопись называет Василий Румянец, поднял нечто вроде тихого бунта против княжившего там Бориса и, что называется, на блюде преподнес Нижний великому князю московскому. Бориса с женой, детьми и доброхотами развели по разным городам. Борис и скончался через год-другой. Но Семен с Василием от отчины не отступились. Особенно Семен взбунтовался.

Ведь теперь что же получалось? Все удельные князья бывшей нижегородской округи скучились в Суздале, который один еще оставался самостоятельным. На все другие Москва наложила мягкую, но когтистую лапу — именно так, без особой крови княжил и собирав под себя уделы Василий I Дмитриевич.

Братья, словом, воспротивились этой мягкой лапе и бросились в Орду. Где же еще было тогда искать управы? Как великий хан посмотрит. А тот бы и рад по-прежнему ставить палки в колеса Москве, дробить Русь на мелкие улусы и раздавать ярлыки, да Орда-то была уже не та, разделась на две: Синюю — к востоку от Волги, где исподволь зрела страшная силища Тамерлана, и Орду нагорную, к западу от Волги, которую собрал темник Мамай и которая теперь обреталась под плетью Тохтамыша. Той и другой надобились рати, победы, союзники, деньги...

Тем не менее в 1399-м под каменными стенами Нижнего появился князь Семен с татарской тысячей, которую вел некий царевич Ейтяз.

Воеводы-наместники затворились и Семена не пустили. Тогда тысяча рассыпалась по обезлюдевшему посаду и полетели меткие татарские стрелы в нижегородцев. Три дня, говорит летопись, пытались татары проникнуть в город.

Где была тогда бесприютная Александра? Опять маялась и голосила в Суздале? Или тоже прикатила к Нижнему? Что мысленно или прямо кричала она Семену? «Непутевый, зачем опять неверных привел? Гляди, что творится, ведь зажгут басурмане город. О детях подумал бы, ирод».

А Семен смотрел исподлобья, прятал шальные глаза, будто и не замечая, как колотят ему в грудь мягкие женины кулачки. И распался против московского племянника. «Купил, говоришь, отчину мою. Много гри-

вен собрал с улусников. Все под себя решил грести. Ханом стать великим. Да погоди ты! — отмахнулся он от Александры. — Про детей. Заладила свое. У меня про них и дума. Если мы вот так с поклоном будем Васьеке свои отчины отдавать, он не токмо Городец с Нижним, он и до Суздаля доберется. Кто тогда примет нас с детками-то, уделы раздаривших?»

Муторно, тяжело было у Семена на душе. Все не по его выходило. Думал татарами только попужать воевод московских, думал, что нижегородцы сами отворят своему князю. Ан не тут-то было. Не дается ему Нижний. Сильному и богатому служит — как испокон пошло. Что ему твои отчинные права? Твоя княжеская обида? А Ейтяз уже косо смотрит: что, мол, ты за князь, если своего взять не можешь? Не уступит Нижний — округу зорить начнет. Не уходить же теперь ни с чем.

И так безысходно стало Семену, что на все готов был пойти.

Московская повторилась под Нижним история. Опять кричал и клялся Семен, что не тронут татары христиан — вот-те крест. И добра их князю со княгиней не надо. А не отворят, хуже будет земле нижегородской.

Много кричал, не жалел. Уже и руки были холодны и спокойны. И голос. Второе крестное целование, кажись, куда как проще первого. Первая, говорят, колом, а вторая — соколом. А ведь он и сам себе, грешному, не верил.

Когда отворили-таки ворота горожане, не стало татарам никакого удержу. Металась поди-ка по светелке Александра, опять и опять посылала Семена к Ейтязу. Да кто и что тут мог? Пришли татары — свое возьмут. Донесла до нас летопись характерное семеново оправдание перед горожанами — то ли на площади перед толпой, то ли перед лицом бояр: «Не я обманул, а татары: я в них не волен, я с ними ничего сделать не могу».

Две недели, сообщает та же летопись, кормились татары в Нижнем. Но прошел слух, что великий князь готовит войско, и Ейтяз, собрав свою ничуть не поредевшую, а раздобревшую тысячу, убрался в Орду. Но Семену-то с Александрой что было делать против московской силы?

Опять пустились в бега. Сами с детьми, с редющей на глазах казной, с немногими ближайшими боярами, у коих еще оставалась вера в семенову мятежную правоту и удачу. Но таяла и она вместе с казной. Только князева одер-



жимость и понукала.

Александр куда было деваться? Она и кляла свою привязанность к Семену, и жаждала угла, покоя. Наверно, уговаривала затвориться в Суздале или Городец вымолить у великого князя. А не то, так податься вон в вятские земли, что под суздальской же властью обретаются. В Хлынов-городок. Но знала, что не отступится Семен — таков уж уродился. И болела за него душа — отчаянного, безоглядного, невезучего.

Вот и опять ринулся в Орду, непутевый.

Осень всю уже гуляла по волжским берегам. Ночлегом остановились в местечке с новой, недавно поднятой церквушкой св. Николы Чудотворца. На большой округе не виднелось больше креста. Местечко невелико, но князю, о котором гуляла-таки молва, уступил свои хоромы местный царек из болгарских татар. Он недавно принял православие и спешил укрепиться в вере благими деяниями. А тут — такая удача: в грехе заблудший муж, бесприютная женщина...

Хозяин долго не отпускал князя. О чем-то беседовали они по ночам, не затепляя свеч. Александру, детей обиходил, согрел вниманием. И оттаял Семен на даровых хлебах и медах. Задумчив стал, каким никогда не знала его Александра. Больше слушал ее, чем орал. И, как ни странно, соглашался. А ведь не о том ли и она всегда ему толмачила: уймись, потесни в душе сатану, дай притулиться Богу.

«Поживи тут, — сказал однажды Семен Александре. — Я один схожу к Шадибеку». — И что-то новое послышалось ей в голосе мужа, не отчаянное и безоглядное, коего боялась и с коим никогда не хотела отпускать Семена, а словно бы решенность, которой нельзя, не надо противиться. Послышалось, что согласился уже Семен с ее мольбами, но хочет сам сказать последнее слово. Вот этой еще одной поездкой к хану. Уже не с отчаянной надеждой на помощь, а чтобы утвердиться дорогой в ее, александровой, правоте.

Уста женщины только нашептывают истину, а изрекают уста мужчины.

Тихо говорил Семен, но твердо. И она отталась.

Но не знал о том многозначительном расставании московский великий князь. А знал, что опять подался Семен в Орду, смуту наводить, ему, великому князю, супротивиться, войско у хана просить, Нижнего домогаться. А он Нижнего под другой рукой уже и не пред-

ставлял. Так и на боярском совете домыслили: не гоже новой напасти от Семена ждать, укоротить пора строптивного князя. Но не войско же слать? Не тягаться же в Орде князю с бездомным дядюшкой? А чем тогда усмирить Семена?

Боярин Иван Андреевич Уда слово взял.

— Говорят, княже, что оставил Семен Дмитриевич на этот раз свою жену где-то в болгарях. И бояр при ней. А не взять ли нам ее на Москву под белые руки?

Молодой князь хмурился, молчал: не сказал ли боярин чего лишнего про дядю? А у самого внутри заиграло. Верно боярин речет: поять* Александру, и князь Семен мигом с повинной явится. Ни рати не понадобится, ни рубля московского.

— Ты и пойдешь за ней, Иван Андреевич.

Чем закончился бунт нижегородского суздальского князя против самодержавия Москвы, о том существует краткая летописная повесть, которую за небольшими разночтениями приводят по крайней мере три летописания. Ближайшее к событиям — Троицкое, — как известно, сгорело в 1812 году, и «повесть» просматривается лишь по примечаниям к «Истории...» Н.М.Карамзина. Второе наиболее надежное и самостоятельное — Новгородская IV летопись. И, наконец, промосковский Никоновский (Патриарший) свод. Нам остается только пересказать современным языком, ибо хрестоматийным это драматическое повествование никак не назовешь.

Итак, осенью 1401, 1402 или 1405 (тут как раз разночтения) года князь московский Василий Дмитриевич послал невеликую рать в татарскую землю на поиски самого ли Семена, княгини ли Александры с детьми, бояр ли семеновых. Воеводил ту рать Иван Андреевич Уда и еще один боярин — некий Федор Глебович.

Долго ли, коротко ли искали, а наехали они в татарской земле на местечко Цыбирцы с новорубленной церковью. Встретил рать черноликий с виду басурманин, назвавшийся Хазибаба. В вере однако оказался православной, принял воевод с почетом и без задней мысли указал на хоромы Александры.**

Так оказалась в руках московского князя и сама Александра с детьми, и бояре ее, и казна

*Поймать, пленить.



остатная, невеликая — все, что надобилось Москве, чтобы укоротить, наконец, Семена.

В Москве Александру к великому князю не пустили — пленница ведь. И еще не знамо, как Семен себя поведет. Жила с детьми на дворе боярина Белеутова. Ждала. Похоже, ждала не долго. Молву подтолкнули к Орде московские киличей-доброхоты. А как прослышал Семен о пленении жены, и что казна, и бояре его в руках московского супостата, покорно принял ту весть. И молитву тихую, покаянную сотворил. И очистил душу от остатков гордыни. Летописи говорят о покорности, смирении и даже умилении князя.

Тем же часом отправил он гонца в Москву, прося у великого князя «опасу», то есть не гнева, а защиты.

И князь великий дал ему «опас»: вернул жену, детей, похоже — бояр и казну. И отпустил, что называется, на все четыре.

Князь Семен, как говорят летописи, взял мир с великим князем. Но куда было ему податься? В Суздале обретались наследники Бориса, в Городце — брат Василий Кирдяпа с большим семейством. Да и не тот уже был Семен, чтобы кого-то тревожить, на что-то претендовать.

Они и впрямь отправились на Вятку. Куда на Вятку, летописи не уточняют, ибо там не-

долго оставалось жить Семену. Объявилась у него болезнь, и только пять месяцев покаянного мира и лада отвела ему судьба. Умер в декабре 21 дня.

А за тем следует в летописях прочувствованное заключение и одновременно как бы отпущение семеновых грехов. Александра не упоминается, но несомненно подразумевается в нем.

Князь Семен Дмитриевич суздальский и Нижнего Новгорода потерпел многие истомы в Орде и на Руси, добиваясь своей отчины. Во-семь лет без отдыха служил он четырем царям Орды: Тохтамышу, Аксак-Темиру (Тамерлану), Темир-Кутлую и Шадибеку, а все для того, чтобы поднять рать на великого князя Василия Дмитриевича московского и отстоять свою вотчину — княжение Нижнего Новгорода, Суздаля и Городца. Много труда приложил, много напастей претерпел ради этого, не имея пристанища своего и покоя ногам своим. Но напрасно он трудился — никакой пользы не обрел. Ибо суетно и тщеславно спасение земное, человеческое, а истинное — от Бога.

Новгородский летописец, который, как предполагает Ключевский, был сторонником «меньших» людей, даже так заключил: кого захочет Бог, того и сделает князем, властелином и земледержцем.

**Что же это за местечко Цыбиры, где нашли бесприютную Александру московские воеводы? Историк Н.С.Арцибашев по некоторому созвучию в названиях предположил, что местечко с церковью Николая Чудотворца располагалось на месте будущего города Симбирска. Однако маститый С.М.Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» возразил: почему бы на том же основании не предположить, что Цыбиры — это будущий Цивильск? Кстати сказать, родина Н.С.Арцибашева, ныне районный центр Чувашии. Как видим, доводы не сильно основательны, но, увы, других, похоже, нет.



Александр НАЙДЕНОВ

ТАЛИЦКИЕ РАСКОЛЬНИЦЫ

Горнозаводские заводы основаны в 1730-х годах по предложению знаменитого Татищева и указу императрицы Анны Иоанновны. Татищев сам ходил к заповедной горе, лично осмотрел те места, нашел, что гора удивительно обильна рудой, лесов в избытке, речки удобны для запруд — и решил, что нужно строить сразу три завода: Кушвинский, Верхнетуриинский и Баранчинский. Через десять лет заводы уже работали. И как! На каждый вложенный рубль давали в год по рублю барыша.

С заводскими поселками были связаны, вероятно, свыше полумиллиона людей — здесь родились, выросли, работали и поумирали. Как и чем жили они? Неужели не оставили о себе памяти.

В архиве Екатеринбурга попали мне в руки папки со старыми бумагами. Выщвели чернила, непривычная орфография, далекая старина. А речь в бумагах — о семье раскольников из деревни Талицы.

Вот «Рапорт урядника о поимке беглых раскольников, скрывавшихся в лесу в окрестностях Верхнетуриинского завода».

11 июля 1854 года в заводскую контору из кушвинского острога привели под конвоем двух молодых женщин и трех девочек раскольников — «для отдачи на верное поручительство впредь до решения о них дела».

В контору были вызваны солидные люди: пушечно-сверильный мастер Венедикт Курсанин и куренной мастер Николай Чер-

ноголов. Они дали расписку, что берут на поручительство детей: Анну Соколову, Авдотью и Прасковью Нечаевых и мастерскую женку Настасью Гурвинову, и обязались представлять их в контору по первому требованию.

Со второй женщиной возникли осложнения: Федора Нечаева не пожелала «присоединиться к раскола поморской секты к Св. Церкви», и взять ее на поруки никто не рискнул. «Девку» отдали приставу для содержания при полиции. А выпустили позднее — на поруки мастерового Николая Селиванова и отставного мастерового Ивана Нечаева, ее отца.

На этом дело не кончилось. В сентябре вышло предписание Главной конторы гороблагодатских заводов выполнить требование кушвинского протоиерея о высылке к нему «девки» Федоры Нечаевой для «увещания к оставлению раскола». А в октябре из деревни Талица доставили письмо, что отставной мастер Иван Нечаев, дочь его девица Федора и сын Данило неизвестно куда пропали.

В Главную контору полетела секретная депеша, в коей, кроме прочего, указывались приметы беглецов: «Девка Федора — ростом 2 арш. 4 верш. (т.е. 162 см. — Примеч. авт.), волосы на голове и бровях светло-русые, рот умеренный, лицо белое рябоватое, от роду 24 1/2 лет. Иван Нечаев — ростом 2 арш. 4 верш. волосы на голове, бороде и усах светло-русые, борода окладистая, бакенбарды светло-русые с проседью, глаза серые, нос средний,

рот умеренный, зубы белые, лицо белое чистое, щеки полные, от роду 56 лет.

Малолет Данило — от роду 7 лет, прочие же приметы по малолетости его еще не описаны».

Два раза принимались искать Нечаевых по всем заводам хребта Уральского, но они точно в воду канули.

Между тем, екатеринбургский епископ Иона сообщил главному начальнику горных заводов генералу от артиллерии Глинке, что Прасковья Нечаева и Анна Соколова приняли православие, «а девки Авдотьи Нечаевой в Верхнетуриинском заводе, к которому она принадлежит, не отыскано». Велено было принять меры к поимке Авдотьи Нечаевой.

Только в июне 1858 года завершилась операция по розыску вышепоименованных преступников. В 35 верстах от Верхнетуриинского завода в скиту за деревней Талицей обнаружены среди прочих — Федора и Авдотья Нечаевы. Одновременно пришла весть из Перми: лесная стража Серебрянского завода поймала в лесной избушке пятерых раскольников-мужчин и с ними 4 девки, из коих две родные сестры, Александра и Мария Васильевны Нечаевы. Александра находилась в лесах с 1 октября 1856 года, а Мария — с 1 ноября 1855-го.

Все арестованные девки, кроме Федоры, изъявили согласие присоединиться к св. церкви. И только несговорчивая Федора пробыла в кушвинском остроге еще целый год.

А тем временем в империи про-



изошли перемены. Новый царь Александр II смягчил отношение к инакомыслящим. Раскольники стали возвращаться из скитов. Вот одно архивное свидетельство. «... Известно что вместе с Федорой и Авдотьей Нечаевыми в том же скиту находились: малолетний их брат Данило и старичок неизвестной фамилии, и что перед поимкой они из скиту скрылись... Ныне означенный малолет Нечаев добровольно явился в Верхнетуруинский завод и при допросе в присутствии конторы он объяснил, что скрывался до настоящего времени вместе с неизвестным ему старичком в лесах, и также — в скиту. Но в каком именно месте таковой находится, он совершенно не знает и указать не может, и что соскучившись наконец о своих сестрах, он вследствие просьбы выведен старичком из скиту на трактовую дорогу, ведущую в Богословск, и таким образом вышел в Верхнетуруинский завод. Нечаев имеет в настоящее время 12 лет».

В июле 1859-го добровольно

возвратился еще один Нечаев — Николай. В наказание получил 70 ударов розгами. За ним в марте 1860-го отдался властям Егор Нечаев, наказанный 40 ударами розог. А в октябре 1861-го — Ефим Нечаев, находившийся в бегах десять лет. Он дал полиции любопытные показания: «Ефим Нечаев, от роду 34 года, грамотный. Поморской веры. В службу Его Императорского Величества поступил в 1844 году. ...Присягу принимал, воинский устав и артикулы мне читаны и что за какое преступление чинить повелено знаю. Отлучился я из Верхнетуруинского завода самовольно летом 1851 года в город Кунгур, в окрестностях которого есть в лесах келья. Желая более убедиться в поморской вере и узнав, что в Кунгуре находится какой-то купец той же поморской веры, я присоединился к нему, и по просьбе моей, он взял меня к себе в виде приказчика... передавая истины веры. Был я с этим купцом в Казани, в окрестностях Москвы, в Екатеринбурге, в Зла-

тоустовском заводе. Наконец, купец оставил меня в г. Перми. Оттуда я отправился в Кунгур, где и жил в лесу... Потом я захотел повидаться с моими родителями и родственниками, проживающими в скиту у деревни Талица, но придя к ним в келью, я нашел ее сгоревшею. Не зная, где они находятся, я остался один в лесах и там прожил до настоящего времени. Ныне, не желая более оставаться в расколе, явился в команду добровольно».

Ефима наказали 20 розгами.

Как оказалось, пойманная в серебрянском скиту Александра Нечаева осталась верна расколу. Когда в 24 года девушка умерла, в верхнетуруинскую контору потребовали ее отца для дачи объяснений. Он сказал, что дочь его перед смертью отказалась и от путешествия по правилам православной церкви, и от погребения по тем же правилам. Местные священники не разрешили хоронить ее на кладбище деревни Талицы, а погребена она вдалеке от деревни, без всякого отпевания.

г. Екатеринбург

«КЛАДЫ КРАЯ ПОЛЕВСКОГО»

Такова идея создания на Урале сказового Парка — центральной части золотого треугольника туристического Екатеринбуржья.

Сценарную разработку идеи Парка представил губернатору Свердловской области уральский писатель и драматург В. Балашов. Читатели и театральные зрители знают его по пьесам и спектаклям, посвященным Пушкину.

Территория Парка, по мысли автора, делится на несколько маршрутов. Один напомнит нам о личностях основоположников каменного, рудного, ме-

таллургического дела и градостроительства на Урале — Петра I и Василия Татищева. Другой в полном смысле слова поведет по сказам Павла Петровича Бажова, поможет ощутить атмосферу их волшебства и потрогать своими руками живую плоть сокровищ Хозяйки Медной горы. А еще один маршрут (и вовсе не последний) назван автором Пролком Мастеров: древоделов, гранильщиков, берестяничиков, кузнецов, пинокатов, ткачей, знахарей...

Центром Парка должна стать Яшмовая комната — создание рук современных камнерезов, не уступающее по художественным достоинствам Каслинскому павильону.

«Клады края Полевского» напомнят нам самим и покажут гостю то, чего он не найдет нигде в мире — самобытную неповторимость Урала, «одну из граней, как пишет автор, громадного самоцвета, имя которому Россия».

Парк и сам станет памятником нынешним мастерам, итогам работы человеческой мысли на Урале.

Сценарная разработка Парка — творческая и тоже самобытная работа Владимира Филипповича Балашова, отмечающего в июне свое 70-летие.



Борис БЛЕСКИН

ПРАВОСЛАВИЕ - неожиданный ракурс

Заканчивается XX век от Рождества Христова. Что возьмет с собой Россия из настоящего в будущее?

Естественно обратиться к знаниям, добытым наукой. Она значительно облегчила жизнь человека, но, по большому счету, не сделала его свободным и счастливым.

А какова в будущем роль религии, прежде всего православия, принятого русскими более 1000 лет назад? Познана ли его глубинная сущность? Выявлено ли взаимное слияние религии и современной науки?

Попробуем осветить ряд аспектов этой сложной и во многом деликатной проблемы.

Православие отмечает целый ряд ежегодных религиозных праздников. Анализ показывает, что в большинстве случаев (в 70-80%) на эти дни приходятся магнитные бури. По церковным правилам в праздники запрещались свадьбы, регламентировались половые контакты. А роль воздержания от зачатия в дни магнитных бурь трудно переоценить. В период возмущения магнитного поля Земли активизируются медленные вирусы. Сейчас известно около 50 видов вирусов, циркулирующих между человеком и животными, обитающими на суше. Помимо вирусных болезней, они способствуют переходу условно патогенных микробов в патогенные, что может вызвать микробные заболевания и даже инфекции. А вирусная инфекция, перенесенная в первые семь недель беременности, часто приводит к врожденным порокам. Установлена связь медленной инфекции с сахарным диабетом, острым лейкозом, коллагенозами, раком, шизофренией, рассеянным склерозом и многими другими заболеваниями. Одним из видов медленной вирусной инфекции является СПИД.

Обследование в одном из районов Москвы 53-х детей с врожденной патологией показало: из 35 детей с врожденными пороками сердца 30 зачаты во время, не рекомендуемое христианской церковью. Из 8 детей, страдающих врожденной фенилкетонурией, сочетающейся с олигофренией, все родились в запрещенные дни (т.е. зачатие произошло в пост или христианский праздник).

В эти дни практиковалось воздержание не только от физического, но и от интеллектуального труда, тем самым предотвращалось принятие неадекватных (недоверенных) решений.

Мы рассмотрели авиационные катастрофы, случившиеся в 1993 году в гражданской авиации в различных странах мира. Оказалось, что 70 процентов катастроф также произошло в дни, соответствующие православным религиозным праздникам, т.е. в период возмущения магнитного поля Земли. Так из 46 разбившихся самолетов в 11 случаях — совпадение день в день, в 19 — ± 1 сутки, в 8 случаях — ± 2 дня относительно даты праздника.

Глянем теперь на катаклизмы социальные — восстания, войны, царубийства, убийства политических деятелей, дуэли... Их мы взяли произвольно — в календаре 1994 года. Итак, 24 «черных» даты минувшего тысячелетия.

В 15 случаях совпадение опять-таки день в день; в 4 случаях — ± одни сутки относительно даты праздника; еще в 4 случаях — ± 2 дня.

Этой закономерности соответствует:

1. 15.02.1238г. Разорение Москвы ханом Батыем
2. 01.03.1446г. Слепление Великого князя Василия II Васильевича (Темного)
3. 02.04.1613г. Гибель Ивана Сусанина
4. 13.03.1650г. Хлебный мятеж в Пскове
5. 12.02.1829г. Разгром русского посольства в Тегеране и убийство А.Грибоедова
6. 19.02.1904г. Гибель крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец»
7. 15.03.1917г. Отречение Николая II
8. 06.11.1708г. Измена Гетмана Мазепы и его бегство к шведам
9. 29.09.1771г. Чумной бунт в Москве
10. 08.09.1914г. Воздушный таран и гибель авиатора П.Н.Нестерова

11. 28.07.1904г. Убит террористами министр вн. дел В.К.Плеве

12. 26.04.1986г. Авария на Чернобыльской АЭС

13. 09.02.1837г. Смертельно ранен на дуэли А.С.Пушкин

14. 28.07.1941г. Смерть на дуэли М.Ю.Лермонтова

15. 14.09.1911г. Убийство пр.-министра России П.А.Столыпина

16. 01.07.1906г. Мятеж моряков в Кронштадте

17. 22.06.1830г. Убийство в Кремле царя Федора Борисовича Годунова

18. 29.11.1830г. Начало Польского восстания

19. 07.11.1917г. Начало В.О.Революции

20. 22.06.1941г. Начало ВОВ

21. 01.08.1914г. Объявление Германией войны России

22. 24.03.1801г. Убийство Павла I

23. 14.03.1881г. Убийство Александра II

24. 03.03.1918г. Подписание Брестского мира

Исходя из совокупной информации мы выявили наиболее опасные дни года: 13.01, 09.02, 25.02, 02.03, 13.03, 02.04, 23.04, 26.04, 17.06, 18.06, 19.06, 28.07, 30.07, 01.08, 14.09, 26.10, 06.11, 21.11. А среди этих дат особенно напряженными оказываются: 09.02, 25.02, 26.04; 28.07 — 01.08 и 26.10. То есть, если наш вывод изобразить схематично, то на циферблате годовых часов окажется нечто вроде свастики, имеющей наклон, относительно дней весеннего и осеннего равноденствия (21.03 и 23.09), а также летнего и зимнего солнцестояния (22.06 и 22.12).

Более длительная напряженность зимнего периода года обусловлена, по нашему мнению, тем, что Земля, двигаясь по эллиптической орбите, в январе ближе к нашему светилу на 2,5 млн. км, а в июне удалена от него на такое же расстояние.

Другим важнейшим атрибутом православного вероисповедания является посещение



ние храма. Богослужение идет в строго регламентированное время (заутреня, обедня, вечерня). И, как оказывается, — в периоды максимального воздействия корпускулярного потока Солнца на Землю (по касательной и по вертикали), который весьма негативно влияет на человека. Между тем, архитектурное решение православного храма несет в себе целый ряд защитно-оздоровительных особенностей, которые находят объяснение в современной науке.

Традиционный храм — это хорошо обтекаемое тело с прочными стенами из белого известняка. Он достаточно надежно отражает корпускулярный солнечный поток. Помимо защитной функции, православный храм несет в себе и функцию аэроионизатора воздуха отрицательными зарядами: его купола выполняют роль верхней пластины конденсатора отрицательных электрических зарядов из нижней части облаков, а поверхность Земли — роль второй пластины конденсатора, несущей положительный заряд. Отрицательные заряды облаков, концентрируясь на нижней кромке купола, создают однонаправленное электрическое поле, позволяющее аэроионизировать воздух в храме отрицательными зарядами. У людей при этом улучшается иммунитет, кислородозаряженность эритроцитов крови, гибнут микробы. Словом, люди, попадая в православный храм, получают защиту от патологического воздействия Космоса, и в этой связи обряды крещения, венчания и другие несут в себе огромный рациональный смысл.

В своем годичном обращении вокруг Солнца наша Земля проходит через четыре кардинальные точки: дни весеннего и осеннего равноденствия. Это самые неустойчивые участки орбиты Земли. Здесь происходит как бы скачкообразное изменение качеств магнитного поля Земли. А резкий переход от одного качества к другому вызывает у людей нарушение внутреннего равновесия (как и при смене атмосферного давления), негативно отражается как на физическом, так и на психическом состоянии.

После осеннего равноденствия прибывают холода: энергии, идущие к Земле, как бы уплотняются. В этих плотных энергиях тяжело работать, снижается активность. Все в природе засыпает, чтобы сэкономить силы. Время идет к зимнему солнцевороту. На этот период недостатка энергии как раз приходится 40-дневный Рождественский пост. После зимнего солнцестояния день прибывает. Земля прогревается. За этот «водный» период зимы в организм скапливается много слизи, которая ослабляет иммунную систему и провоцирует различные болезни. И вот этот-то период весеннего равноденствия включается в Великий

пост. За 48 дней организм успевает очиститься.

С летнего солнцестояния начинается самое жаркое время. Солнце на самой высокой точке небосвода. И наступает Петров пост, который снижает переизбыток энергии в природе. Его продолжительность колеблется от 8 до 42 дней и зависит от даты Пасхи.

К точке осеннего равноденствия все в природе подходит подготовленным, пронитавшимся соками земли. И вот незадолго до равноденствия наступает короткий двухнедельный Успенский пост, подготавливающий нас к переходу от жары к похолоданию.

Вызывает изумление удивительная согласованность христианских постов с ритмами Космоса. И наталкивает на мысль, что это — абсолютное знание, которое было дано человечеству путем откровения.

Суммарная продолжительность многодневных постов составляет от 110 до 144 дней (то есть 30-39 процентов всего года), существуют и однодневные: каждые среду и пятницу. В среднем — 198 дней в году. При ранней Пасхе, когда увеличивается Петров пост, продолжительность возрастала до 215 дней, т.е. более половины года у христиан занимали посты. Не разрешалось употреблять в пищу продукты животного происхождения, возбранялись и супружеские отношения. То есть посты регулировали периоды зачатия, исключали те из них, когда могли зарождаться люди, наделенные трудноуправляемой психикой.

Анализируя биографии долгожителей, нельзя не заметить, что очень многие из них родились в зимне-весенний период — в феврале и марте, т.е. были зачаты сразу же за Великим постом. Пройдя Великий пост, люди сохраняли и накапливали достаточно энергии, чтобы взрастить в себе сильное семя. Да и сам период отличался активизацией всей жизни в природе. Анализ 1800 дат рождения выдающихся физиков, астрономов, математиков, показал, что максимум рождений приходится на февраль.

Благоприятно зачатие осенью. В эту пору на Руси начинали играть свадьбы. Организм был наполнен летним теплом, солнечной энергией, витаминами. И соответственно период рождения приходился на лето, когда новорожденных можно было выносить на улицу, на траву, не опасаясь простуд.

С другой стороны анализ показывает, что на период зачатия в посты приходится: 72 процента самоубийц, 62 — уголовников...

Возможно, что таким образом форми-

ровался психотип христианина. Русскость человека весьма относительна. Смещение наций и народностей в нашей генеалогической реке было поистине огромным. Вместе с тем своеобразно-неповторимый, отличный от других лик-образ русских известен и широко узнаваем по его духовности, физическим данным, вектору и плодам жизни. Это, по нашему мнению, во многом определено культурой православного христианства, нашедшего благоприятную почву в суровых условиях России.

Христианская церковь, в отличие от созерцательной древней астрологии, активно формировала человека на основе поистине божественных законов — ритмов воздействия космоса. Это оказало существенное влияние на умственное и физическое здоровье русского народа и на расширение территории. Россия, вышедшая из «Золотого кольца», менее чем за 6,5 столетий объединила и возглавила народы, населяющие 1/6 часть сухопутного мира. Способность к высоким интеллектуальным и физическим перегрузкам, к многовариантному решению различных проблем позволили русским создать признанные шедевры мировой культуры во всех направлениях (изобразительное искусство, спорт, музыка, литература, архитектура, наука). Овладение значительной территорией происходило не только физически, но и интеллектуальным путем. Весьма наглядны победы князя Александра Невского, походы в Сибирь Ермака, виктории на Черном море адмирала Ушакова. Здесь явно прослеживается интеллектуальное и физическое превосходство над противником.

В 1861 году было отменено в России крепостное право. Миллионы людей покинули сельскую местность, подверглись урбанизации, затрудняющей выполнение церковных обрядов. Уже в 1867 году была продана, а по сути дела брошена Аляска. Дальше — больше: в 1904-м проиграна русско-японская война с отдачей Порт-Артура и порта Дальний, затем I мировая... Затем безумие Гражданской войны, огромные, не привычные для России, потери в Финской, 2 мировой войне.

Сейчас Россия на грани распада. Русские в значительной степени утратили имевшуюся в прошлом центроостремительную силу. Потеряли космобиоритм, регламентированный структурой православного христианства. Параллельно с потерей территории падают показатели здоровья и численности русской популяции. Нарастает уровень преступности, психических заболеваний, самоубийств...

Пришло время собирать камни...



Венедикт СТАНЦЕВ

ВОЙНА ПРИШЛА К МОИМ ВОРОТАМ

ПЕРЕДО МНОЙ ПРОХОДИТ ДЕТСТВО...

Я знал о войнах с малолетства,
и сам не раз крещен войной...
Передо мной проходит детство,
как будто давнее кино.

Мелькают кадры на экране:
апрель, сосульками звеня,
уже причислил к полю брани
на свет пришедшего меня...

Росой мои пропахли ноги,
июльским солнцем голова.
Война стояла на пороге,
твердила строгие слова.

Еще мальчишкой конопатым,
натасканный военруком,
я точно в цель метал гранаты
и зло орудовал штыком.

Забросив меткую рогатку,
я у костров походных мерз,
спал на казенной плащ-палатке
под кроной сосен и берез.

И пусть я слыл еще зеленым,
но был уже непобедим.
"Готов к труду и обороне"
носил, как орден на груди.

В испанский край ребят вихрастых
звал пионерский барабан.
И всем знакомым

вместо "здравствуй"
я говорил "но пасаран".

Пять раз носил я военному
знак "Ворошиловский стрелок",
а он:

"Сиди, парнишка, дома,
и для тебя настанет срок".

И только крылья для полета
расправил я - еще птенцом,
война пришла к моим воротам,
и в час один я стал бойцом.

...Я вынес штык к рейхстагу прямо
и расписался на стене
по той науке точной самой,
что преподавали в детстве мне.

РАЗГОВОР С ЮНОСТЬЮ

Вызвал я памятью Юность свою —
заветное место ей в сердце даю...

Вот она, Юность:
блестит на плечах

Мне с учителями и в жизни, и в
литературе повезло. Один из пер-
вых и самых близких - Венедикт
Тимофеевич Станцев. Человек
щедрого сердца. Солдат Отечес-
твенной. Военный журналист 50 -
х. Живой - слава Богу - классик
уральской поэзии.

Нет смысла говорить о стихах
Станцева. Их знают наизусть, лю-
бят, ждут новых поклонники его
творчества. Мне остается только
сказать: С юбилеем Вас, Мастер!
Живите долго, Вы нужны нам.

А. Кердан, член СП России

соленый нетающий иней,
медаль на груди,
как отваги печать,
глаза словно в порохе синем.
Я на нее по-отцовски смотрю,
дрогнувшим голосом ей говорю:
"Юность моя, не жалел я тебя,
поверь: не до жалости было,
когда задыхались поля от огня,
к Москве подкатила чужая броня,
пушки по Невскому били;
и я, не жалея бросал на штыки
твои девятнадцать весен;
тебе же хотелось девичьей руки,
все книги прочесть
от строки до строки
и вырастить там, где сухие пески,
тяжелое море колосьев..."

Юность пайковой махрой дымит,
Юность с улыбкою мне говорит:
"Упала в бою я, суглинок скребя,
но я не простила с тобою,
слышишь, в горячей груди у тебя
пою я походной трубою,
я ливнем звенящим
несусь над землей,
шагаю в колонне военной,
дышу в Антарктиде
свирепой пургой,
мечтаю пробиться
ракетной стрелой
к мерцающим тайнам Вселенной."

Я на нее, как на ровню, смотрю,
голосом твердым я ей говорю:
"Нестынувший жар твой —
бессмертию гимн —

клокочет в груди поколений:
слава рукам беспокойным твоим,
жизни, весне и горенью!..."

Вызвал я памятью Юность свою,
навечно ей в сердце прописку даю.

МОЛОДОМУ ДРУГУ

Однажды небрежно
сказал ты мне,
не выслушав возражения:
"Сурово ты пишешь,
мой друг, о войне,
нельзя ли о том же
на бойкой струне,
чтоб ничего не боялось в огне
подростающее поколение..."

Сурово?

Не видел ни разу боя,
ты судишь о нем
по одним только слухам,
зачем же тогда говорить такос,
словно война —
это палкой по рюхам.
Чего же проще:
бери чернила,
перо, бумагу — давай строчи,
как до войны о войне строчили
литературные трепачи.
Как же, читали и думали втуне:
пусть лезут фашистские танки,
раз — дунем, два — плюнем,
словом, раз-два — и в дамки...

И вот война:

перрон запруженный,
митинг гудит водопадом слов,
а репродуктор
доносит простужено:
"Наши оставили город Ростов."
И вот атака:
прикрывшись штыками,
бежим на немцев, голову очертя,
и...
Я вижу поле,
устланное телами,
лежат ребята с открытыми ртами,
будто бы — ма-а-а-а-ма —
по-детски крича...

Нет, не могу я на бойкой струне,
я в другом убежден без сомнения:
чем правдивее о войне,
тем мужественнее поколение.



ПРОЗА



Алексей ИВАНОВ

ОБА БЕРЕГА РЕКИ





Глава 1

— Пермь-вторая, конечная! — хрипят динамики.

Колеса трамвая перекатываются с рельса на рельс, как карамель во рту. Трамвай останавливается. Пластины дверей с рокотом отъезжают в сторону. Я гляжу с верхней ступеньки на привокзальную площадь поверх моря людских голов.

Над вокзалом, за проводами с бусами тарелок-изоляторов, за решетчатыми мостами, за козырьками semaфоров — малиновые полосы облаков. Небо до фиолета отмыто закатом, который желтым свечением стоит где-то вдаль, за Камой.

Хоть времени и в обрез, я иду в толпе медленно, чтобы ненароком не сбить кого своим огромным рюкзаком. Гомон, музыка, шарканье шагов, свистки, перестуки. Издалека я замечаю свою команду у стенки правого тоннеля.

Девочки смиренно сидят на подоконнике. Пацаны курят. Рюкзаки составлены в ряд. Ученички мои, конечно, вырядились кто во что горазд. Маша и Люська в кроссовках, брючках и разноцветных импортных куртках. Отцы в телогрейках, брезентовых штанах и сапогах. С Градусовым вообще беда. Под свисающей с плеч рваной курткой — тельняшка, заляпанные известкой трико подпоясаны солдатским ремнем, на ногах — мушкетерские болотники с подвернутыми голенищами. На рыжем затылке висит длинная лыжная шапочка с красным помпоном. Н-да, походнички... Девочки словно бы на пикник собрались, отцы — в колхоз, а Градусов вообще в армию батьки Махно.

— Опаздываете на пятнадцать минут, — строго говорит мне Бармин.

— Думали, совсем не придете, обломаете... — гнусавит Тютин.

— Надевайте свои сидоры, — велю я. — Ничего дома не забыли?

И тут раздается дикий крик. Люська закрывает лицо руками.

— Я сапоги забыла!.. — она таращит глаза сквозь пальцы.

— Ну, все! — я ожесточенно машу рукой. — Поход отменяется!

— Из-за нее одной все страдать должны?.. — расстраивается Тютин.

— Да фиг с ее сапогами, — говорит Деменев.

— Дура, блин! — орет Градусов. — Корова! Чего из-за нее поход отменять, Виктор Сергеевич! Если она ноги промочит, я их ей на фиг оторву, чтобы не заболела, и все дела!

Маша смеется. Бармин глядит на часы.

— Да суетитесь живее, лопухи! — тороплю я.

— Накололи, да? — доходит до Градусова, и

он яростно пихает Тютину. — Шевели рейками, бивень! Из-за тебя опаздываем!

— Электропоезд Пермь — Комарихинское отправляется с пятого пути Горнозаводского направления!.. — грозно раскатывается над вокзалом.

Мы рысью пролетаем тоннель и выскакиваем на перрон. Бармин, как фургон, уносится вперед, к полосатой роже нашей электрички. Остальные бегут за ним. Я предпоследний, за моей спиной надрывно сопит и подвывает Тютин.

Бармин прыжком взлетает в вагон и хватается за рукоять стоп-крана. Отцы с рюкзаками карабкаются на ступеньки. Я подсаживаю девочек. Визжит Тютин, которого сверху втаскивают за воротник, за рюкзак, за уши, за волосы. Я вспархиваю самостоятельно.

Двери съезжаются с пушечным грохотом. От толчка мы валимся на стенку тамбура — электричка трогается. Плывет за окнами привокзальная площадь с ларьками, рекламными щитами и разноцветными крышами машин, похожими после недавнего дождя на морскую гальку. Деревья под насыпью сквозисто-зелеными кронами замутняют город.

Мы едем. За окном быстро смеркается. В вагоне включают неторопливый и неяркий дорожный свет. Почти все лавки пусты, пассажиров, практически, нет. Слева за окнами то и дело бледным отливом широко сверкает Кама. Воют моторы. Колеса стучат, как пулеметы, и трассирующие нити городских огней летят в полумгле.

Отцы сначала долго собачатся, распихивая рюкзаки, потом садятся играть в карты. Я ухожу в тамбур, где сломана одна половинка двери, и сажусь на ступеньки. Я курю, гляжу в проносящуюся мимо ночную тьму и думаю о том, что я все же вырвался в поход. Пять дней — по меркам города немного. Но по меркам природы в этот срок входят и жизнь, и смерть, и любовь. Но по меркам судьбы эти пять дней длиннее года, который я проработал в школе. В эти пять дней ничто не будет отлучать меня от Маши, которую, может, черт, а может, бог в облике завуча первого сентября посадил за третью парту в девятом «бэ». Воз слепого бессилия, ногтями изорвавшего мне ладони, воз, который я волок по улицам города от дома к школе и от школы к дому, застрянет в грязи немощенной дороги за городской заставой. Река Ледяная спасет меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы, потому что на реках законы судьбы становятся явлениями природы, а пересечь полосу ливня гораздо легче, чем пересилить отчаяние.

Я поднимаюсь и иду в вагон. Отцы режутся в дурака уже вяло, без гвалта, с опухшими лицами и



красными глазами. Только Градусов, точно розгами, яростно сечет козырями Чебыкина, который кричит и почесывается. Тютин трет глаза кулаками. Маша прикорнула на плече у Овечкина, который незаметно и ласково приобнял ее сзади за плечи. Бармин напряженно смотрит в свои карты и задумчиво держит себя за нос. Из другого тамбура появляются Люська и Демон. У Деменева совершенно обалделый вид. У Люськи глаза хитрые и трусливые, зато восторженные. Понятно, целовались в тамбуре до легкой контузии. Я увещаю всех лечь спать. Все по привычке не желают.

Тогда я ухожу обратно. Мне здесь сидеть до Комарихи. Станция Дивья, станция Парма, станция Валежная — снежная, таежная. Станция Багул, станция Ергач, станция Теплая Гора. Я жду, я караюлю. И несется мимо неясная, еще льдистая майская ночь.

Сгорбась под рюкзаками, стоим в тамбуре. За окном в мути проплывают глухие огни спящей Комарихи. На стекле дождь растворяет их в звезды, волны, радуги. Электричка тормозит, останавливается. Двери раскрываются. На улице — тьма и дождь. В потоке света из тамбура виден только какой-то белый кирпичный угол и голая ветка, отбрасывающая на него контрастную тень. Отцы, крича, лезут вниз. Я — за ними. Дождь сразу ощупывает холодными пальцами волосы, лоб, кончики ушей. Отцы ежатся. Я закуриваю.

— Ну что, — говорю, — худо, Магелланы?

Молчат, даже Тютин молчит. Значит, действительно худо.

Цепочкой понуро бредем по перрончику мимо вокзала под горящими окнами нашей электрички. Полоса этих окон в темноте похожа на светящуюся фотопленку. В кустах у граненого кирпичного стакана водонапорной башни слышатся пьяные выкрики. Отцы прибавляют шаг.

За башней глазам открывается туманное, мерцающее дождем пространство, по низу расчерченное блестящими рельсами. Вдали смутно громоздится какой-то эшелон, светлеет кошачье рыло другой электрички, ожидающей отправления в тушке. Туда и идем.

Я запикиваю школьников в пустой и темный вагон с раскрытыми дверями, а Градусову, который мне наиболее подозрителен, говорю:

— Градусов, без вещей на выход. Пойдешь со мной за билетами.

Злобно махая руками, Градусов выпрыгивает из вагона обратно.

На вокзале у кассы толпятся брезентовые туристы, засаленные колхозники, какие-то драные бомжи. Окошечко кассы маленькое и необычно-

венно глубокое, вроде штреха. Такую кассу можно ограбить лишь силами крупного воинского соединения. Скорчившись, вытаскиваю девять влажных, липких билетиков. С огромным облегчением мы с Градусовым выходим на улицу и вдоль путей идем к себе. Я на ходу пересчитываю билеты — точно, девять.

— Мужики, стоять!.. — из кустов возле водонапорки к нам вываливаются пятеро пьяных парней примерно моего возраста. Один хватает меня за рукав, другой цапает Градусова за шиворот.

— Мужики, помогите деньгами, — проникновенно говорит кто-то.

— Отпусти, козел! — тотчас орет Градусов.

Не успеваю я и чирикнуть, как градусовский кулак врзается в глаз того, кто держал Градусова за шкуру. Все мои внутренности обрываются и шлепаются на дно живота. Ой, дура-ак!.. Сейчас начнется битва на Калке!.. Удар в челюсть откидывает Градусова на меня. Градусов кидается на врага. В неизмеримо короткий миг я успеваю выдернуть свою руку, перехватить Градусова уже в полете и развернуть в другую сторону. Я отвешиваю Градусову такого пинка, от которого тот, подобно птице Финист Ясный Сокол, уносится к нашей электричке. Я чешу вслед за ним.

Матерясь и запинаясь о шпалы, парни преследуют нас.

— Ну, туристы, падлы, вычислим вас в электричке!.. — отставая, кричат они нам вслед.

Мы с Градусовым тормозим только у дверей своего вагона.

— Фиг ли ты в драку-то лезешь, урод?.. — хриплю я. — Они тут сейчас всю Комариху поднимут, колья пойдут выворачивать...

Градусов молчит, вытирая шапкой лицо. Мы переводим дух.

— Нашим про это — ни слова! — предупреждаю я.

В вагоне горит свечка. Маша гадает Люське. Отцы слушают.

— Ты нагадай, чтоб хорошо получилось... — жарко шепчет Люська.

— Дура, что ли? — спрашивает Маша.

Меня все еще подбрасывает после встречи с комарихинскими алкашами. Мне надо чем-то занять мысли, руки, чтобы не тряслись.

— Давайте пожрем, — говорю я. — До Ледяной больше не успеем...

Отцы лезут в рюкзаки, вытаскивают свертки с перекусами. Один только Демон остается в стороне. Он развалился на скамейке и положил ноги на соседнее сиденье.

— Что, перекус дома забыл? — спрашиваю я.



— А-а, неохота собирать было... — лениво отвечает Демон.

Я тупо гляжу на свои бутерброды. Все жуют. У меня в ушах все еще звучит: «Вычислим вас в электричке!..» Кусок в горло не лезет. Я подвигаю свою снедь Демону.

— Лопай. От своих-то не дождешься, чтобы поделились...

Я иду в тамбур курить. Там уже стоит и курит Градусов.

— Чего не ешь? — спрашиваю я.

— Мне блевать охота, какая еда...

Вот уж не ожидал от Градусова такой ранимости. Мы молчим.

— А ведь у меня, Виктор Сергеевич, нож с собою был... — вдруг говорит Градусов. — Если бы вы меня не оттащили, я бы точно того козла пырнул... Ничего уже не соображал...

Я не знаю, верить ли Градусову. В четырнадцать лет все крутые.

— А если они полезут нас искать? — спрашивает Градусов.

Тоска подкатывает мне под горло. Почему всегда что-то отлучает меня от Маши? То одно, то другое, вот теперь — страх.

— Я пойду тогда к первому вагону, а? — предлагает Градусов. — Если те придут, подерусь с ними, они и отвалят, дальше не сунутся... Все равно нам на запасном пути еще два часа торчать...

— Я с тобой, — неожиданно для себя говорю я.

Мы выпрыгиваем под дождь и идем к головному вагону, усаживаемся на ступеньки тамбура. Мы молчим, курим.

— Вы, наверное, жалеете, что взяли меня... — бубнит сбоку Градусов. — Двоечник, в школе вам всегда подляны делал, тут чуть драку не устроил... А я вас только первые полгода ненавидел, а потом уже нет... Только остановиться не мог... Я и в поход-то напросился из-за вас, чтобы здесь вам помогать и вы меня простили за те гадости... Мне ведь компания-то эта совсем не нравится, чмошные все, особенно эта Люська Митрофанова... — Градусов помолчал, но я ничего не сказал. — Не верите... — горько кивнул он.

Он колупнул ногтем краску на стенке и вдруг достал из своей гусарской курточки пузатую фляжку.

— Водка! — злобно говорит он мне. — Нажрუსь щас назло вам...

Он отвинчивает колпачок и пьет из горлышка. Я не гляжу на него. Он снова пьет. Потом переводит дух и глотает опять.

— Мне-то оставь, — говорю я. — Я тоже нажрუსь.

Градусов подозрительно смотрит на меня, ухмыляется и протягивает фляжку. Я прикладываюсь и возвращаю ее.

— Вы серьезно?.. — с некоторым удивлением спрашивает Градусов.

А я чувствую, что я страшно устал. Устал от долгого учебного года, от города, и от похода тоже уже устал. Устал от Маши, от Градусова, от комарихинских алкашей, от себя. Устал от страха, от любви, от жизни. Устал от своих разочарований и от своих надежд, от своей непорядочности и от своей порядочности. А, катись все к черту.

— Серьезно, — говорю я. — Вместе нажремся. Идет?

— Вы встать-то можете?.. — тормозит меня Овечкин.

Я сажусь на скамейке. Господи, как я сюда попал? Где я, где мы, что было?.. Ничего не помню, ничего не понимаю. Кошмар, что со мною! Я еще пьяный, но уже маюсь с похмелья. Сердце зашкаливает, душа в тело вставлена сикось-накось, раскаленный крест жжет мозги. Мимо меня по проходу вагона Бармин и Чебыкин волокут Градусова.

Я встаю, вдеваюсь в рюкзак и шатаюсь бреду в тамбур. Стук колес замирает, двери разъезжаются. Маша, Люська, Демон, Тютин, Овечкин, как парашютисты, прыгают в блещущую черноту. Из нее ко мне, как цветы, тянутся руки. Я валюсь на них, как телефонная трубка на рычаг. Сзади Борман и Чебыкин спускают останки Градусова и выпрыгивают сами. Двери шипят. Электричка взывает и течет прочь.

Узкая тропа заменяет платформу. Заполночь. Дождь. Пустынная темная станция, затонувшая в дожде и тьме, как Атлантида. Табуном мы бредем через рельсы к вокзальчику. Вокзал — это заколоченная и запертая хибара. Борман плюет на замок и сбрасывает рюкзак в грязь. Все поступают по его примеру, потом натягивают на головы капюшоны и садятся на завалинку под облупленной стеной.

— Слушайте, — говорю я, снимая кепку, чтобы дождь освежил башку. — Так пойдемте лучше к реке, до нее от станции...

— От какой станции? — мрачно спрашивает Бармин.

— От Гранита... — тупо отвечаю я.

— Вот твоя станция, — говорит Борман и носком сапога переворачивает в луже ржавую, свалившуюся сверху табличку.

— «Семичеловечья»... — обалдеваю я.

— Грамотный, козел...

— Семичеловечья — третья после Гранита, — печально поясняет Овечкин. — Проспали мы ее из-за вас, алкашей...



Трясущимися руками я достаю сигарету.

— Что, я сильно напился? — робко спрашиваю я.

— Воще жара! — говорит Чебыкин и начинает хихикать. — К нам пришли и спросили, не наши ли там туристы? Мы говорим, наверное, это наш руководитель. Вы с Градусом сидели в первом вагоне, курили, плевались, матерились, песни орали. Ты нас увидел — полез под скамейку. Когда волокли тебя, ты ноги поджимал, цеплялся за все, ржал. Потом бухнулся Машке на лавку, обнял ее, сказал, что она все равно будет твоей женой, и уснул.

Мне хочется залезть в какой-нибудь сосуд и похоронить себя в морской пучине, как старик Хоттабыч.

— Короче, мы тебя за пьянку свергли из начальников, — неохотно информирует Овечкин.

— Нам такие начальники-бухгалтеры не нужны, — беспощадно добавляет Борман. — Так что ты нам больше не командир, и звать тебя мы будем просто Географ. А все вопросы станем решать сами.

— О-ох... — стону я и, нахлобучивая кепку, ухожу во тьму.

К черту все. Завтрашние проблемы решу завтра. Сейчас я хочу спать. Я озираюсь, подыскивая место для ночлега. Невдалеке я вижу какой-то навес. Пустая лесопилка. Слово бог подсунул...

По моргающим лужам шагаю обратно. Просторное мятое небо дымно пучится над головой. Тускло горит вдали одинокий фиолетовый семафор. Непроглядная, без единой искры деревня Семичеловечье по слякоте соскальзывает вниз с косогора черными, раздерганными копнами домов. Холодным ветром тянет с северного горизонта, как сквозняком из щели под дверью.

Издали вижу отцов, съезжившихся на фоне некогда белой стены вокзальчика. Они надвинули капюшоны, закутались в дождевики и штормовки, а вода все равно течет по головам, по плечам, по коленям. Дождь метет по перрону, бренчит на брошенной табличке с названием станции. Бедные отцы! Представляю, каково им — зябко, сыро, голодно, спать охота... Ночь длинная, дороги огромные, сил нет, будущее во тьме, никто не поможет, и командир — гад.

Раннее утро. Мы спим на досчатом настиле под навесом лесопилки. Мы залезли в спальники, прижались друг к другу и укрылись сверху полиэтиленовым тентом. Голубое небо размыто светится через запотевший от дыхания полиэтилен.

Нам тепло, хоть и тесно. Спящий рядом Тютин лежит наполовину на мне, наполовину на Чебыкине. Я сдвигаю с себя свою половину Тютина и вы-

лезаю наружу.

Над миром ясно и тихо. Вдалеке, у ветхого забора, на окаменевшем кряже сидит Маша. Прочие еще спят. Я иду к Маше, хрустя тонким льдом. Лужи обметаны припаем. На штабелях бревен искрится иней. Опилочная грязь затвердела так, что не продавливается сапогом. Воздух пахнет водой и остывшими дорогами.

Я усаживаюсь на комель рядом с Машей и закуриваю, спокойно любуюсь ею. Похмелья почти нет. Маша молчит.

— Зачем вы вчера напились, Виктор Сергеевич? — наконец спрашивает она, но я не отвечаю. Сам не знаю, зачем. Так. Ни за чем.

Мы с Машей молча глядим на спящую деревню Семичеловечью — убогую, выцветшую, кривую, грязную. Улицы ее проваливаются в косогоры, как прогнившие доски настила в подпол. Топорщатся гребенки заборов. Цвет у мира — серо-голубой. Негасимые сумерки красоты. Вечный неуют северного очарования. Сдержанные краски, холодная и ясная весна. Сизые еловые острия поднимаются за деревней ровной строчкой кардиограммы. Сердцебиение Земли — в норме. Покой. Туманом катятся к горизонту великие дали тайги.

— Виктор Сергеевич, — осторожно говорит Маша, — а вы помните, что вам вчера пацаны сказали?

— Это что свергли меня? Помню. И очень этим доволен. Мне хлопот меньше. Пушай сами командуют. Я и в школе накомандовался.

Маша смотрит на меня как-то странно. Учитель, называется. Вытащил детей в глухомань, напился, и плывите, как хотите.

Я беззаботно подмигиваю Маше.

— Вы или врете, или ошибаетесь, — серьезно говорит Маша.

Я закуриваю и не отвечаю. Все-таки Маша — еще девочка, пусть красивая и умная, но еще девочка. Мне не суметь объяснить ей то, до чего сам я добрался с содранной кожей. Я знаю, что научить ничему нельзя. Можно стать примером, и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. Однако, подражать лично мне не советую. А можно просто поставить в такие условия, где и без пояснений будет ясно, как чего делать. Конечно, я откачаю, если кто утонет, но вот захлебываться он будет по-настоящему.

И жаль, что для отцов, для Маши я остаюсь все-таки учителем из школы. Значит, по их мнению, я должен влезть на ящик и, указывая пальцем, объяснять. Нет. Не дождетесь. Все указатели судьбы годятся только на то, чтобы сбить с дороги.

Из-под тента, где лежат отцы, до нас с Машей



начинают доноситься глухие голоса. Я слышу обрывками: «Географ... Географ...»

— Пойдем послушаем, — предлагаю я Маше.

— Подслушивать некрасиво.

— Зато увлекательно и поучительно, — отвечаю я и иду один.

— Из-за вас, алкашей, станцию проспали... — ноет Тютин.

— Заткнись, Жертва! — огрызается Градусов.

— Сами бы вставали!

— Дело не в этом, а в том, что поступать так нельзя, — рассуждает Борман.

— Иди в лампу, дух!

— Надо решать, а не базарить, — замечает Овечкин.

— Домой надо ехать... — убито говорит Тютин.

— Фиг ли домой? По теплому сортиру заскучал?

— Вернемся обратно на Гранит... — предлагает Чебыкин.

— День потеряем, — хозяйственно вздыхает Борман.

— Погребем по-пырому, да и наверстаем, — говорит Чебыкин.

— Нафиг-нафиг, сам гребь, — не соглашается Демон. — Я что, ишак?

— Дам в пилораму, и погребешь! — рычит Градусов.

— Не материтесь, уснуть невозможно... — сонно бормочет Люська.

— Может, спросить у Географа, где есть речка покороче, да и поехать туда? — предполагает Овечкин. — И поплаваем, и не опоздаем...

— На хрена ехать еще куда? — пугается Демон. — Уйдем за деревню, поставим палатку, все сожрем, выпьем — и домой!

— Чего вы орете? — ворчит Люська. — Пусть Географ решает...

— Снова ему доверять? — скептически хмыкает Борман.

— Дак чо, — удивляется Люська. — Ну, напился он вчера... У меня папка тоже сперва напьется, а потом все починит, лучше, чем было...

— Нет, решать будем сами, — твердо заявляет Овечкин.

— А можно я предложение внесу? — громко спрашиваю я и вылезаю на помост лесопилки. Отцы подозрительно затихают.

— По карте, в десяти километрах от Семичеловечья течет речка Поньш. Она впадает в Ледяную как раз напротив Гранита. Давайте поплывем по ней, а закончим маршрут в деревне Межень. Пойдет так?

— А ты ничего не намудрил? — неуверенно спрашивает Борман.

— Чтобы я, да напутал? — удивляюсь я. — Кто из нас всех Географ?

У конторы леспромхоза я договариваюсь с водилой, что за литр он довезет нас до Поньша. У могучего КРАЗа длинная, хищная, волчья морда, словно кровью, заляпанная пятнами грунтовок. Девочек я сажаю в кабину, а отцы привязывают рюкзаки на площадку сзади. Мы усаживаемся. Поливая грязь струей солярного выхлопа, лесовоз трогается, вытягивая за собой длинный прицеп с рогами, напоминающий орудие на лафете. Верхом на рюкзаках, вровень с крышами, мы катим по улицам Семичеловечья. Мимо летят деревья, телеграфные столбы, пилы заборов, окна, печные трубы. Навес лесопилки некоторое время еще маячит среди волн двускатных кровель, потом тонет. Затем с обеих сторон, как конница, налетает лес.

Щебневая дорога прет напрямик по увалам. Нас валяет с боку на бок и подбрасывает. Мы цепляем друг за друга. Тютин при толчке пинает себя коленом в скулу и лезет в рот грязным пальцем ощупывать зубы. Дизель ревет, лязгают цепи, которыми скрепляются штабеля бревен, подскакивает и грохочет прицеп-тележка, мотая рогами.

Дорога ржавой лентой уносится назад из-под колес и заваливается за повороты. По обочинам лежат вылетевшие из связок бревна — с созревшей, красноватой древесиной и коробом отвалившейся корой. Из какой-нибудь канавы изредка изгибом высовывается брошенная крышка. Луки крыльями размахиваются по дороге и остаются позади, кипящие, кофейно-задымленные.

По обе стороны трассы громоздятся тесный, вековой ельник, в толще которого вдруг проскакивают белые нитки берез. Снег в нем только начал сходить, и наст кое-где изъеден обугленными разводами проталин. Косой валежник оброс бурой пеной из плесени. Проселки, как выстрелы, внезапно хлопают по глазам неожиданным светом. На обтаявших, грязно-волосатых полянах топорщатся треноги из жердей для будущих стогов. А иногда на плече кряжа лес расступается, и мы видим синие, холмистые дали, исчезающие в дымке, и над ними — кривые изломы далеких, высоких шиханов.

Наконец после очередного поворота внизу под склоном взблескивает извив реки. Большая пролысина вырубки, вся заросшая мелкими березками, боком сползает от дороги к берегу.

Наш лесовоз останавливается. Отцы спрыгивают, ковыляя на занемевших ногах. Я достаю две бутылки водки и лезу в кабину.



— В поход, что ли, собрались? — спрашивает водила, принимая бутылки. — Ты у них учитель, что ль, какой? Чего учишь?

— Географию, — говорю я.

— Я тоже в школе любил географию... — мечтательно говорит водила. — Молодец, парень. В наше-то время хочешь еще чему-то научить этих оболтусов... На, — и он вдруг протягивает мне обратно одну бутылку. — Держи, вам, небось, она нужнее будет.

— Спасибо... — растерянно отвечаю я.

Глава 2

Поньш, который летом был шириною едва ли в двадцать шагов, сейчас разлился так, что затопил ельник на противоположном берегу докуда хватало глаз. Весна выдалась поздняя и дружная. Талые воды со склонов гор, из урочищ хлынули сплошным потоком. Этот поток стремительно нес сорванные ветки, источенные льдины, куски мха и дерна, недогнившую листву, обломки коры, черную траву. На стволы деревьев накрутило юбки из бурого мочала. Грязная пена тянулась по быстротоку, сбивалась в комья над водоворотами. Поньш был мутным, как самогон.

Наши рюкзаки распотрошены, а вещи разбросаны среди чахлах березок. Я обучаю отцов правильной укладке. Напялив оранжевые спасжилеты, отцы, ругаясь, уныло бродят по берегу, волоча свои шмотки то в одну кучу, то в другую. Управляемся еле-еле за полтора часа.

— А теперь надо жерди для каркаса вырубить, — говорю я.

Отцы насупленно сидят общей кучей и злобно курят. Я фальшиво насвистываю, поигрывая топором. Наконец в насупленной куче нарождается угрюмое бурчание, которое постепенно перерастает в яростную брань. Отцы решают, кому идти за жердями. У всех самоотвод. Ситуация усугубляется до тыканья друг в друга пальцами, до оскорблений и выпихивания наружу. Наконец из кучи задом наперед на четвереньках вылетает Тютин, встает, забирает у меня топор и, хныкая, сутулясь, утаскивается в березки. Все сидят, ждут, молчат, курят. Я тоже. Тютин возвращается с охапкой тоненьких сосенок.

— Это слишком хлипкие, — говорю я. — Нужны попрочнее.

— Ты, блин, Жертва, дергай снова за дубинами! — орет Градусов.

Девочки уходят в сторону и, отвернувшись, усаживаются на берег. Отцы лежат. Я молча курю. Тютин поодаль стоит в кустах, как олень.

— Ладно, — говорю я. — Пусть каркас будет

из тонких жердей. Но учтите: я предупреждал, что они могут сломаться.

Я объясняю, как строится катамаран. Показываю, как накачивать гондолы. Всем сразу кажется, что это самое легкое. Градусов, Демон и Овечкин устремляются ко мне. В свалке Градусов овладевает насосом и бьет им всех по голове. Что ж, пусть качает Градусов.

Я учу вязать раму. Все с мрачным предчувствием смотрят на меня, обступив меня полукругом и засунув руки в карманы. Молчат. Я вяжу. Все смотрят. Я вяжу. Все смотрят. Я говорю:

— Человек может смотреть бесконечно на три вещи в мире: на горящий огонь, на падающий плевок и на чужую работу.

Борман, тяжело кряхтя, присаживается на корточки и тоже берется за веревки. Нехотя к нему присоединяется вздыхающий Чебыкин, потом покурый Овечкин. Демон и Тютин по-прежнему лежат в березках.

Катамаран пусть и медленно, но строится. К шаткой раме из тонких жердей мы приматываем четыре коротких гондолы — по две в ряд, потом натягиваем сетку, прикручиваем чалку и уже дружно спускаем свое судно на воду. Все задумчиво разглядывают его.

— Эротично получилось, — говорит Чебыкин.

— У нас в деревне тоже один мальчик плавал — плавал на надувной лодке, и утонул, — тихо говорит Тютин, и все надолго замолкают.

— Бивень, — наконец говорит Градусов.

— Ну, делите места, — предлагаю я. — Мое — справа на корме.

Справа на корме — это место командира. Отцам же почему-то кажется, что места на корме — чуханские, а вот баские места только на носу. Градусов падает ничком на передок правой гондолы, обхватывает его руками и орет, что всем сокрушит пилораму. Чебыкин и Овечкин отдирают его. Тютин прыгает вокруг, пока градусовский сапог случайно не заезжает ему под дых. Тютин укладывается на землю лицом вниз и молчит. Пока Чебыкин и Овечкин дергают за ноги в разные стороны Градусова, Борман быстро и деловито прищуривается на передок левой гондолы. Ушлый Демон пристраивает свое барахло за спиной Бормана. Потом вчетвером они все-таки отрывают бьющегося Градусова. Чебыкин ловко занимает правое носовое место, а Овечкин — место за спиной Чебыкина. Градусов выдергивается из рук Бормана и Демона и начинает отрывать от катамарана крепко прищурованный к каркасу рюкзак Чебыкина. Все вновь оттаскивают Градусова и кричат ему, что алкаши сидят на корме и не рыпаются, например,



Географ. Градусов бешено плюет на рюкзак Чебыкина и идет на корму, рядом со мной. Я помогаю устроиться девочкам — Люське перед Градусовым, а Маше перед собою. Оклемавшийся Тютин поднимается и видит, что ему осталось место лишь посередине катамарана. Надо только выбрать, где сесть — справа или слева. Тютин берет весло, забирается зачем-то на бугор и веслом долго, вдумчиво машет там, примериваясь, с какой руки ему будет удобнее загребать. Выясняется, что удобнее с левой. Он укладывает свой рюкзак на левую гондолу. Градусов грозит, что если увидит перед собой черепок Жертвы, то сразу же раскроит его нафиг. Тютин, вздыхая, покорно переползает на правую гондолу. Сражение утихает.

— А теперь третья часть Марлезонского балета, — говорю я. — Нужно идти за дровами на обед.

Отцы неподвижно сидят в березках — злые и молчаливые. Курят.

— Пацаны... — жалобно просит Люська. — Чего вы как эти... Борман.

— А фиг ли я? — огрызается Борман. — Всегда: Борман! Борман!.. Самый резкий, что ли? Вон Демон пусть идет.

— Я не могу. Я руку порезал. Вот, смотрите.

— Чего ты грабли свои суешь мне в харю? — орет Градусов. — Отжимайся! Я тоже ногу стер! Ну и что?

— Нога — не рука, ею дрова не рубить.

Свара разгорается с новой страстью. Вскоре уже все орут, бьют себя в грудь, швыряют друг другу топор и размахивают увечьями. Тютин постепенно отключивается к кустам.

— Виктор Сергеевич, — утомленно говорит Маша. — Вы же видите — никакого костра они не сделают... Может, устроить просто перекус?

— Во-первых, — отвечаю я, — они уже сожрали, что взяли из дома...

— Я не сожрала, — быстро вставляет Люська.

— Во-вторых, — продолжаю я, — потерпите, девочки. Так надо. А в третьих, пойдемте в лес и слопаем Люськины пироги втроем.

— Нехорошо втроем, — твердо говорит Маша.

— Делить — так на всех.

— Маша... — говорю я. — Не старайся понять меня, а просто поверь. Потом сама увидишь, что я окажусь прав.

Маша растерянно молчит.

— Да верит она вам, только выделяется, — говорит Люська.

— Дура, — краснея, отвечает Маша.

Мы втроем уходим в лес и там съедаем Люськины бутерброды, чипсы и вафли. Когда мы возвра-

щаемся через полчаса, отцы в живописных позах угрюмо лежат на берегу.

— Вон дрова... — цедит мне Градусов и носком сапога поддевает небольшую кучку срубленных березок.

Я поднимаю одну березку и сгибаю ее подковой.

— Это не дрова, это веревки сырые, — говорю я. — К тому же, их мало. И где рогадины для костра? Где перекладина? Где котлы с водой? Где огонь?

Отцы не отвечают.

— В общем, так, — подвожу итог я. — Чтобы найти место для ночевки, мы выплываем сейчас. Позавтракаем и пообедаем в ужин.

Мы плывем. Я так долго ждал, когда же смогу вложить реальное содержание в эти простые слова: мы плывем. Запястьями, висками, кончиками ушей я ощущаю влажную свежесть воздуха. От каждого гребка на желтой воде закручиваются две воронки, и узор их напоминает рельеф ионической капители. Когти тоски, что целый год ржавели в моей душе, потихоньку разжимаются. Мне кажется, что впервые за долгое время я двигаюсь по дороге, которая приведет меня к радости.

Отцы вдруг забыли, что они голодные и уставшие. Они ошалели от того, что по-настоящему плывут по настоящей речке в настоящей тайге. Они бестолково гребут в разные стороны и гогочут.

— Эротично!.. — балдея, бормочет Чебыкин.

Поньш стремительно катится среди ельников, блестящая, янтарная от заката дорога между двух черных, высоких заборов. Над рекой стоит шум — журчат кусты, гулом отзывается пространство. Мимо нас совсем рядом, хоть веслом дотянись, мелькают еловые лапы. Вечер сгустил все краски, в цвета тропических рыб расписал хвосты и плавники облаков. Дикий, огненный край неба дымно и слепо глядит на нас бездонным водоворотом солнца. Надувная плюшка и пригоршня человечков на ней — посреди грозного таежного океана. Это как нож у горла, как первая любовь, как последние стихи.

— Географ, а что это там, впереди? — спрашивает Борман. — Дом?

— Может, Пермь? — с надеждой предполагает Тютин.

— Доплывем — увидим, — говорю я.

— Блин, нафиг, это же скалы!.. — кричит Чебыкин.

По длинной дуге мы несемся вперед. И вот из-за поворота навстречу нам и вверх лезут каменные стены. Ельник оттягивается в сторону, как штора.

Не просто огромная, а чудовищно-огромная ска-



ла, как гребенчатый динозавр в траве, лежит на левом берегу в еловых дебрях. Чебыкин длинно свистит от ужаса или от восторга. С таким свистом падает бомба. Отцы перестали грести, уставившись на каменные кручи.

А Поньш все бежит к скале и все не может добежать. А скала разваливается на отдельные утесы, вытягивается вверх пиками, выпучивается, вваливается, надстраиваясь в наших глазах, как робот-трансформер, обретая истинный вид и полные размеры.

На общем скальном фундаменте, вдоль которого летит Поньш, громоздятся два кривых утеса. Левый сверху расколот на три зубца, а правый расщеплен на четыре. И между утесами фантастическим сверлом ввинчивается вверх, разбухая на конце, узкая щербатая башня — Чертов Палец. Семь пиков — Семь Братьев, скала Семичеловечья. Еловые копыя вонзаются Братьям под ребра.

Поньш затягивает нас под скалу. Мы дружно задираем головы. Мятые, стесанные стены. Грубая кладка. Старые сколы. Дуги пластов словно потрескивают под давлением неимоверной тяжести. Трещины и рубцы, покрытые размывами вешних водостоков и бурым лишайником. Из расщелин, как орудийные стволы из амбразур, торчат обломанные стволы рухнувших сверху деревьев. И еще языки каменных осыпей, и груды валежника в теснинах, и мертвая твердь монолита за ветвями засохших елок. А по гребню на страшной высоте — кайма сосновых крон, алых от заката.

И тут вдруг Борман начинает орать, судорожно дергая веслом. Я роняю взгляд с вершин на реку. Волосы ходуном прокатываются по моей голове. Поньш под скалой словно бы спотыкается о длинную плиту поперек русла и летит кувыркком. Блестящий слив скатывается по плоскости плиты и, как нож, вонзается в бурлящую пенную кашу, из которой вылетают фонтаны брызг.

Наш катамаран боком заходит в струю. Через миг нас перевернет.

- Левый борт, греби! — ору я.
- Табань! — орет Борман.
- Чеба, раззява, убью! — орет Градусов.
- Назад! — тонко вопит Чебыкин.
- Поворачивай! — верещит Овечкин.
- А-ы-ы!.. — взывает Тютин.

Я табану, всем корпусом откинувшись назад и носками сапог закрючив перекладину каркаса. Цевье весла хрустит от напряжения, а из-под лопасти ползет пена. Катамаран вздрагивает, поворачивая бегемотово рыло навстречу препятствию. Мне кажется, что в спине у меня от натуги рвутся веревки. Мы вплавляемся в слепящее на закате

зеркало потока и в упор ухаем вниз по сливу.

Белое клокотание проглатывает Бормана и Чебыкина, потом Демона и Овечкина. Катамаран прогибается посередине, и даже сквозь обвальнный грохот воды я слышу треск лопающегося каркаса. Отцы выныривают, а пенный язык катится через Тютину и расшибается о колени Маши и Люськи. Слобно получив пинок, мокрый катамаран вылетает из порога, едва только чиркнувшего нас с Градусовым по сапогам.

И тут я вижу, как Тютин вдруг начинает медленно погружаться в каркас. Тютин молчит. На лице у него остаются лишь пугающей величины глаза и маленький, плотно сжатый ротик. Каркас разломился прямо посередине, где стыкуются две пары гондол — то есть, под Тютиным. И теперь катамаран медленно разделяется на две половинки.

— Держи Жертву!.. — первым орет Градусов.

Маша, Люська и Овечкин дружно вцепляются в Тютину, который торчит из каркаса уже по пояс, как Иван Коровий Сын из сырой земли. Теперь Тютин — единственное связующее звено между двумя половинками нашего катамарана. Он висит между ними по грудь в воде, как амбарный замок между створками ворот.

— К берегу! — команду я.

Полянка подвернулась сразу после Семичеловечья, под ее левым плечом. Озверев от передряг, отцы выволакивают катамаран на берег и набрасываются на работу, словно сказочные молодцы из ларца. Вмиг образуется лагерь — кострище, гора рюкзаков и палатка, огромный десятиместный шатер. Не переодеваясь, отцы мчатся за дровами и через секунду уже возвращаются. Овечкин тащит охапку сухих сосенок, Демон — еловые лапы, Тютин — трухлявую валежину, Чебыкин — пень. Градусов позади всех, выпучив глаза и оскалившись, прет огромное бревно, вспахивая им землю, как плугом. Стараясь успеть до темноты, разжигаем костер, развешиваем на просушку одежду, рубим дрова, вяжем новый каркас для катамарана.

Закат стекает к горизонту, и над еловой пилой гаснет последняя багровая полоса. Четыре зубца Семичеловечья еще освещены, а остальное заволакивают сумерки. По затопленному лесу на другом берегу пробиваются гривы тумана. В воздухе словно плавают призраки — как тени, отслоившиеся от вещей. В насыщенной синеве неба над хищными елками ярко зажигается Луна — белое волжье солнце.

Жизнь в нашем лагере постепенно стягивается к костру. Девочки чистят картошку на ужин. Вбитые колышки обрастают распяленной для просуш-



ки одежды, как огородные пугала. С ветвей березы на краю поляны, как паруса, свисают подмокшие спальники.

— Какой хрен на мой спальник свое паршивое шмотье повесил? — орет от березы Градусов. На фоне звездного неба, как птицы, пролетают штаны и свитер. Тютин с писком убегает за ними.

Тьма сгущается окончательно. Я чувствую, что к лицу, к рукам словно прикасается тонкая, холодная паутина. Это ложится ночная роса. В свете костра наша поляна похожа на остров, всплывающий из пучины мрака вверх к Луне. Огонь то стелется по углям, то под ветром с реки напряженно топорщится в разные стороны и дрожит. При сполохах из окружающей черноты, как морды любопытных лесных страшилищ, высовываются вдруг то березовые рога, то усы тальника, то вынюхивающий нос пня, то насупленные еловые брови. Стена Семичеловечьей, встающая над нашей поляной, в плещущем свете костра похожа на занавес из багрового бархата, который под ветром величественно колыхается, опадает и снова вспучивается.

На ужин мы тушим картошку. Должность шеф-повара выбрал себе Градусов. Отцы тоже вертятся вокруг котлов, то подкладывают дрова, то просовывают ложку, чтобы попробовать. Градусов лупит всех по рукам, по затылкам поварешкой и командует:

— Борман, открывай консерву!.. Уйди отсюда, сволочь, со своей помощью! Щас как помогу сапогом по зубам, всю пенсию на стоматолога потратишь!.. Овчин, Бивень, ты чего по костровой варежке топчешься?.. Перцу надо! Чеба, у тебя перец?.. Демон, сбрызни, последний раз говорю!.. Жертва, неси полено! «Зачем, зачем», по башке тебе треснуть, вот зачем!.. Митрофанова, какого фи́га картошку так крупно порезала? В рот не влезает!..

— Т-що тебе не нравится? — возмущается Люська. — В твой-то рот, да чтоб не влезло? Орешь, как потерпевший!..

Наконец и картошка, и чай готовы. Их ставят на землю. Маша с поварешкой готовится раздавать. К ней со всех сторон тянутся тарелки. Градусов, ругаясь, пролезает вперед, отпихивая Демона.

— Кто глазки пучит, ничего не получит, — строго говорит ему Маша и первым накладывает Тютину.

Но дробный стук ложек неожиданно быстро замедляется. Картошка пересолена так круто, что у меня трещит в щеках.

— Кто, хады, солил, кроме меня? — сипло спрашивает Градусов.

— Ну, я, — с достоинством говорит Борман. — Я люблю солененькое.

— И я, — удивляется Люська. — Дак чо, там недосолено было!..

— И я, — добавляет Чебыкин. — Но только одну ложку.

— И я ложку, — кается Овечкин.

— А у меня камушек упал!.. — пищит Тютин.

— Какой камушек? — жалобно спрашивает обалдевший Градусов.

— Соляной камушек... Из пакетика!..

— А ты-то, Жертва, как к котлу прокрался? — Градусов, кажется, едва не плачет. — Ты же в кустах ползал, барахло свое искал!..

— Ну... Искал сапоги, которые ты выкинул, заодно и посолил!..

Продолжение на 59 с.

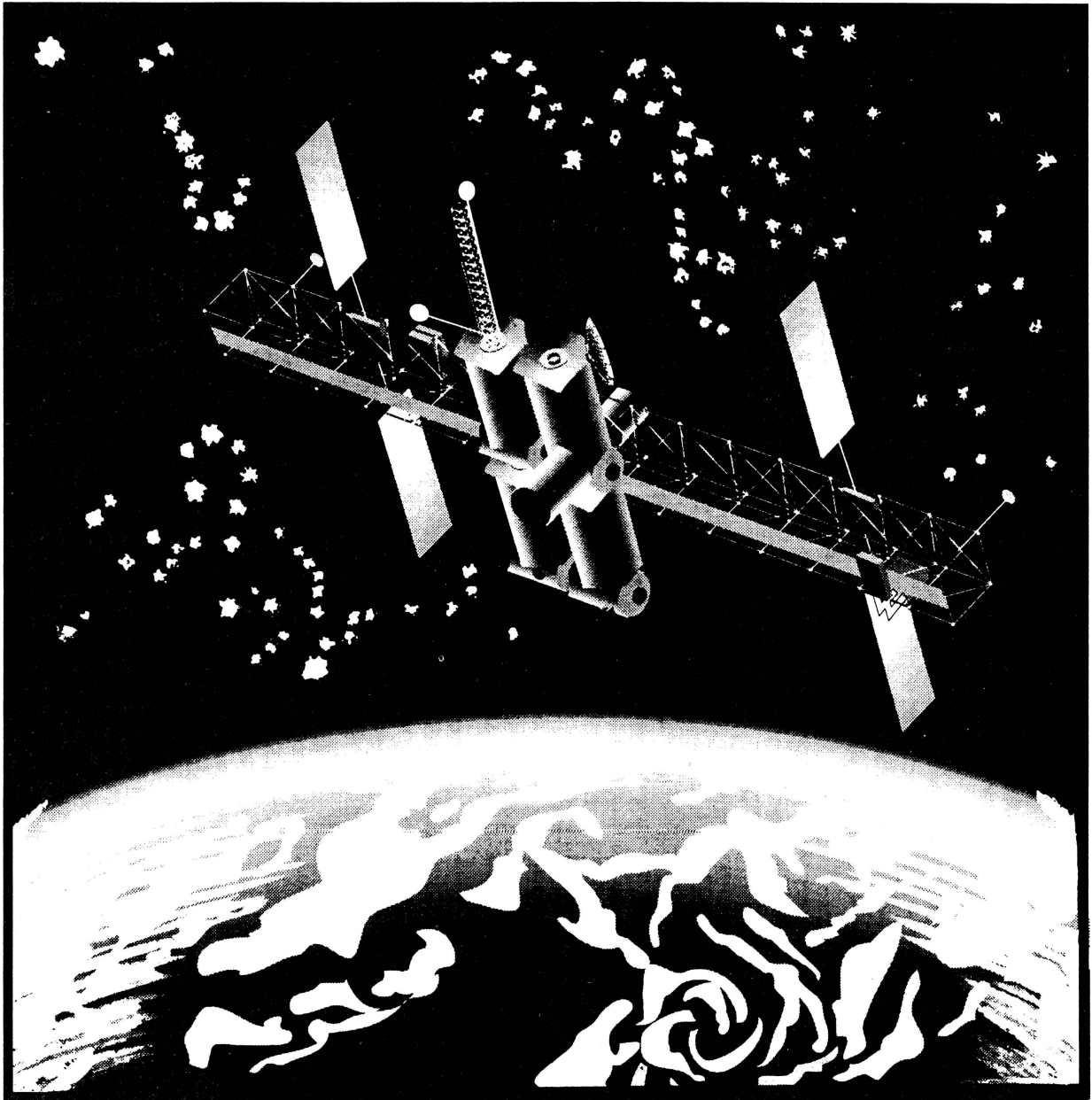


АЭЛИТА



Василий ЩЕПЕТНЁВ

МАРС, 1939Г.



Глава 1

Шаров зажмурился. Ну, сейчас. Кисленький леденец, неуместный, легкомысленный, отвлекал, заставляя сглатывать слюну. Для того и дали мальчику. Он считал про себя: тринадцать, четырнадцать... Не было ни шума, ни удара, ни толчка, только уши заложило и захолодело внутри, словно клеть ринулась вниз, в забой. Приехали.

Переместились. Он открыл глаза. Сквозь бязевую стеночку кабинки пробивался голубоватый свет. Пора выгружаться.

Он неловко — и легкость тела, и непривычно медленно раскачивающийся гамак сбивали — соскочил вниз. Соскок тоже получился медленный, сонный. Марс, однако.

— Иван Иванович, мы... уже?

Лукин последовал примеру начальника и теперь стоял, отряхиваясь от несуществующей пыли. Хороший парень, и обращается, как к дяде родному. У нас вообще хорошая молодежь. Замечательная. Достойная смена. Уважает старших, например. Так, уважая, и съест. Этот, похоже, уже начал.

— Уже что, подпоручик? — Шаров подчеркнуто выделил звание. Не люблю амикошонство.

— Ну... Переход... Он состоялся?

— Разумеется. Наша техника безотказна, вы разве не уверены в этом?

— Все-таки боязно, — Лукин решил не замечать холодности капитана. Ничего, всему свое время. — Сколько отмахали. Раз — и мы здесь.

Бязь дрогнула. Снаружи послышались шаги. Наверное, так ходят ангелы: едва задевая землю, готовые в любую минуту взлететь, случись впереди грязь и горе.

— Добро пожаловать в Алозорьевск. — А вот голос был не ангельский. Сухой, скрипучий. Старьевщик на кишиневском базаре или одесский золотарь. Гадать, впрочем, долго не пришлось: занавесь откинулась, и обладатель голоса показался. Старичок в длинном, до пола, докторском халате. — Добро пожаловать, — повторил он. — Как матушка?

— Вращается помаленьку.

— Это хорошо, — без особой радости произнес старичок. — Позвольте рекомендовать: санитарный ответственный Зарядин, третья категория значимости. А вы, полагаю, инспекция из Столицы.

— Так и есть, — подтвердил Шаров. Из конспирации их департамент любил насылать этикие вот инспекции. Грош цена конспирации в базарный день, а по будням — алтын, но традиции... Свято блюдем-с, да-с. Не щадя живота, ваше-ство!

— Вас ожидают. Сразу после декомпрессии я отведу вас к первому вожаку, — не без гордости — к каким лицам вхож! — произнес старичок.

— Зачем декомпрессии? — Лукину не терпелось. На службе Родине мгновеньем дорожи.

— Воздух стравливаем, — успокаивающе объяснил Зарядин. — Во внутренней зоне давление ноль четыре земного. Сразу нельзя. Кровь закипит.

— Долго ждать? — спешит, спешит выкачать Лукин рвение.

— С полчаса. Да вы проходите. Присядьте, отдохните. Чаю с дороги не желаете?

— Нет, — Шаров вдохнул марсианский воздух, затекающий в кабинку, тяжелый и несвежий. Отчетливо вспомнилось дело ныряющей лодки «Декабрист», в отсеках которой он провел месяц, прежде чем нашел немецкого шпиона. Настоящего, не выбитого. По выбитым вон Лукин специалист. Хватаешь человека, бьешь с упорством, и готов шпион, хоть английский, хоть японский. Гваделупские не требуются? Извольте приказать, мы мигом...

Кресла оказались зуболюбивые: массивные, с подголовниками, прикрытыми накрахмаленными чехлами. Он сел, вытянул ноги. Приемный зал был копией земного, но копией более тусклой, ношеной. Вдоль стен тянулись скамьи, а над ними — сальные полосы, следы голов. Пять лет преобразования Марса, а это — Главные ворота первопроходчиков. Даже единственные, если быть точным. Но излишняя точность — грубейшая ошибка, как говаривал учитель математики в далекие гимназические годы. И везде — в газете, выступлениях, рапортах и молитвах ворота назывались — Главными. Вверху, руками не достать — панно. Первый покоритель Марса в момент Подвига.

— Носом дышите, так богаче. А к запаху привыкнете быстро, сами не заметите.

— Не моеетесь вы здесь, что ли? — недовольно спросил Лукин, морща свой образцовый славянский нос.

— Нас сюда не мыться послали, молодой человек, а преобразовывать планету, — обиделся старичок. Лукин хотел было осадить Зарядина, подумавшись, третья категория, открыл даже рот, но не нашелся и только угрюмо посмотрел на санитарного ответственного.

— И каковы успехи преобразования? — разрядил обстановку Шаров.

— Стараемся, — неопределенно ответил Зарядин. Ему кресла не хватило, и он ходил вдоль стены со скамейкой. Пол — каменный, не протопчет. — Вы глубоко не дышите, легче, на полвдоха. Иначе голова закружится.

Время тянулось. Шаров покосился на чемоданчик, полпуда личных вещей, положенных уставом, здесь вес совсем ерундовый. Значит ли это, что можно было взять вещей больше? Какая разница. Где ж их взять-то? Достать книжку? Нет, никакого удовольствия читать здесь. И Лукина радовать не стоит,



книжка не входила в список разрешенных.

Зарядин не просто ходил, он еще и поглядывал на манометр у выхода. Наконец старик объявил: «Декомпрессия завершена!». Вот как. Спасибо. А мы бы не догадались. Дверь грязно-серого цвета отошла вбок. Широкий коридор с невысоким потолком того же крысиного цвета, торная дорога Марса. Впрочем, они почти сразу свернули в боковой ход, поуже и почище. Но с охранниками. Еще пост, еще и еще. Никто не спрашивал паролей и документов. В лицо знали. Подготовились. Декомпрессия — штука полезная. Коридорчик стал совсем узким, на одного рыцаря, зато под ногами появилась ковровая дорожка. Горячее, горячее! Действительно, вскоре они оказались в типичном кабинете-предбаннике: секретарь за столом, по бокам — пара охранников, верховные вожаки на стене (холст, масло, 230x160) и спесивая, одетая в кожу дверь Самого.

— Капитан Шаров, вас ждут. Подпоручик Лукин, вы останетесь здесь. Личные вещи доставят в ваши отсеки.

Чего же сразу не взяли, еще в камере перехода? Не по чину? Поставив чемоданчик на пол, Шаров взялся за ручку двери. Раскрылась дверь легко, но за ней оказался не кабинет, а тамбур. Пришлось опять постоять, недолго, пару минут. Любят на Марсе декомпрессию. То ли Шаров принюхался, то ли воздух в кабинете первого вожака был иным, но вонь немытого тела исчезла, напротив, пахло степными травами, простором. Органическая химия на службе людям. И каким людям! За небольшим, уездные вожаки и поболее имели, столон сидели двое. Гадать особенно было нечего: в кресле напротив двери, прямо под портретами (точная копия картины секретарского кабинета) сидел первый вожак, а несколько сбоку, и креслице уже — кто-то поменьше. Очевидно, третий, как и везде, ответственный за безопасность.

— А вот и посланец Земли, — преувеличенно бодро проговорил первый вождь. — Капитан Шаров, не правда ли?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Не устали с дальней дороги, капитан?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Без чинов, без чинов. Меня зовут Александр Алексеевич. Ушаков Александр Алексеевич. Да вы и сами это знаете, верно?

Шаров знал.

— А это — наш третий, Юрий Михайлович Спицин. Ваш, некоторым образом, коллега.

— Очень приятно. — Третий сказал приветствие так, что можно было подумать, и в самом деле — приятно.

— Вы поудобнее, поудобнее располагайтесь. Сбитень, чай?

— Благодарю. — Шаров сел в предложенное кресло.

— Сбитню нам, — в переговорную трубку

скомандовал Ушаков. Внесли — словно по маговению волшебной палочки. И никаких декомпрессий.

— Сбитень на Марсе — первое дело. Воздух сухой, редкий. А снаружи — о! Сейчас еще ничего, лето. Зимой, конечно, люто. — Третий пил сбитень с удовольствием. Лицо его, обветренное, желтого марсианского загара, покраснелось и вспотело.

— Лето, — подтвердил Ушаков. — Мы вот сегодня с Юрием Михайловичем ходили-ходили, под солнцем кости парили. Плюс три в полдень, жара.

Наконец сладкий, теплый сбитень был выпит. Шаров последним поставил стакан на поднос. Подстаканник — оловянный, но сделан мастером. Искусства в нем было больше, чем в обеих картинах с жоками.

— Итак, капитан, может быть, вы нам расскажете, что привело вас сюда. Если не секрет, конечно.

Шаров отстегнул с ремня планшет, открыл неторопливо. Секрет, еще какой секрет. Но не для всех.

— Причиной моей инспекции послужила эта статья, — Шаров развернул бумагу. — Появилась она во вчерашнем номере «Таймс».

— «Таймс»? — удивленно протянул Ушаков.

— Лондонская газета.

— Ну, что у них не одна газета, а много, мы в курсе, — первый озадаченно разглядывал полосу, густо измазанную цензурными вымарками.

— В статье пишется о невыносимых условиях жизни в марсианских колониях России.

— Не курорт, — пожал плечами Ушаков.

— Упоминается катастрофа в экспериментальном поселке «Свободный Труд», когда из-за неполадок подачи кислорода в ночь с седьмого на восьмое августа задохнулись десятки человек.

— Ну, это... — Ушаков вдруг замолчал.

— Поймите. — Третий вожак, Спицин, похоже, понял. — В ночь с седьмого на восьмое августа...

— Тысяча девятьсот тридцать девятого года. Неделю назад. — подтвердил Шаров.

— Но откуда они в Лондоне об этом узнали? — недоуменно и даже гневно спросил первый вожак.

— Полагаю, именно это и должен выяснить наш капитан. Не так ли?

Шарову оставалось лишь утвердительно склонить голову.

ГЛАВА 2

— Ваши полномочия? — благожелательно продолжил третий.

Шаров протянул мандат.

— Серьезная бумага, — Спицин передал мандат Ушакову, но тот вернул его Шарову, не



читая. Не царское то дело. — Что ж, можете рассчитывать на наше полное содействие.

— Самое полное, — уточнил Ушаков. — Найдите мне этого мерзавца, отыщите любой ценой.

Похоже, что Ушаков подрастерялся: начинает давать указания.

— Что вам потребуется? — Третий был более опытным в делах безопасности. Не удивительно. Ему по должности положено.

— Все. Свободный доступ в любое место, к любому человеку, к любому документу. Транспорт. Сопровождающий, компетентный и неболтливый. Остальное — по ходу дела.

— Мы выдадим вам генеральный пропуск. Транспорт — не проблема, если вы действительно хотите выйти наружу. Сопровождающий... — Ушаков вопросительно посмотрел на Спицина. — Сопровождающим будет санитарный ответственный Зарядин. Опытный человек, лояльный, по роду службы знающий всех и вся, лучшего и придумать трудно. Ну, а от службы безопасности... Я подойду?

— Ваше превосходительство...

— Тогда решено. Когда вы приступаете к работе?

— Сейчас. — Шаров не ждал ничего иного. Прямой контроль местного руководства. Еще бы. Ведь от результатов расследования зависит судьба самого руководства. Это только говорится — дальше Марса не пошлют. Еще как пошлют! А даже если и оставят, то кем?..

— Мы выделим вам кабинет, при департаменте безопасности. Тогда вам удобнее будет пользоваться нашими материалами, да и помощь всегда под рукой — конвой или еще кто понадобится... — Третий давно уже все решил. Ну-ну...

— Кабинет, конечно, не помешает. Но сейчас я хотел бы знать, что в действительности произошло в поселении «Свободный труд», и почему в Столицу ничего не сообщили?

— Да ничего особенного не произошло, — поморщился Ушаков. — Рабочий момент. Цифры не настолько уж и велики, чтобы выделять их отдельной строкой. Если вам подробности нужны, Юрий Михайлович доложит.

— Конечно, — Спицин и глазом не моргнул. — А лучше всего услышать из первых уст, знаете ли. Проект научный, тонкости имеются... Мы особенно не вмешиваемся, даем людям работать. До известных пределов, конечно. Теперь вмешиваемся. Свотрой Орсенева занимается, с ней и поговорить надо...

— Свотрой?..

— «Свободным Трудом», экспериментальным поселком. Привыкли к сокращению, знаете ли...

— Тогда я хочу видеть вашу Орсенева.

— Сейчас она как раз должна возвращаться из Свотры. Думаю, через полчаса будет.

— Хорошо. — Шарова эти оттяжки не радо-

вали, но монастырь все-таки чужой. — Мне еще нужны списки всех, связанных с этим научным проектом... Свотры... и всех, имеющих доступ к Воротам.

— А на Земле... На Земле проверили?

— Проверяют. Еще как проверяют. — Шаров мог бы добавить, что все проверяемые признались во всем, но ни одно признание не сочли удовлетворительным. Не знал никто о Свободном Труде, об английской «Таймс», да и получить что-нибудь с Марса, минуя Контроль, по-прежнему казалось невозможным. Но ведь получили!

— Списки мы тоже подготовим через полчаса. А пока, капитан, устраивайтесь. Вас проведут в гостевой отсек, подкрепитесь, а там и начинайте. — Третий вежливо предлагал ему удалиться. И славненько. По крайней мере, обошлись без велеперечивых упоминаний Третьего Рима, Наследства Шамбалы и прочей верноподданнической риторики. На выходе декомпрессии не было.

Зато был Зарядин, санитарный ответственный.

— Я провожу вас в отсек. Рядышком, а с непривычки найти трудно. — Старичок повел его по коридорам. Вергилий или Иван Сусанин? Вергилий Иванович Сусанин. Впереди послышались окрики, шум. Невидимо, за воротами шли люди. — Пополнение, вечернее пополнение, — охотно пояснил Зарядин. — По уставу я их принимаю, но теперь придется помощничку моему. Ничего, он смысленный.

— Пополнение?

— Ну да. Новые поселенцы. Человек сорок-пятьдесят, думаю. Обычно максимум пятьдесят набирается.

Путь их свернул в сторону, коридорчики были окрашены веселеньким желтым цветом.

— Вот здесь вам жить, — Зарядин открыл дверь с табличкой «N 2-A». Жилье не манило. Камера, а не жилье. Без окон, как и все виденное до сих пор. Но Зарядин явно восхищался роскошью. — Вот здесь — удобства. Расход первичной воды — из синенького крана, видите, десять литров в сутки, а вторичной — вообще ненормирован.

— Вторичной? — Шаров не стал уточнять.

— Это ваш ключ.

— А подпоручик Лукин, он где?

— Да рядом, в номере «2-С». За углом как раз. Позвать?

— Пока не нужно.

— Тогда я оставлю вас на полчаса. Располагайтесь.

Без Зарядина номер показался чуть просторнее. У кровати стоял его чемоданчик, удивительно вписавшийся в спартанскую обстановку. Вторичная вода, надо же. Впрочем, вода как вода — на вид, на запах. Пробовать ее Шаров не стал, и умылся тоже — из синенького крана. Текла вода тонкой струйкой, экономно, и была — ледяной. Поневоле беречь будешь.

Шаров посмотрел на часы. Надо будет о местном времени справиться. Сколько у них длятся полчаса?.. Оказалось, ровно тридцать минут. Вернулся санитарный ответственный, принес запечатанный пакет с бумагами: генеральным пропуском (несмотря на громкое название, документ оказался невзрачным), длинным, на пять страниц, списком лиц, участвующих в разработке «Легкие» поселка «Свободный Труд», и поменьше, едва на лист — действовавших в обслуживании установки перемещения. Еще принес Зарядин карту, с грифом «секретно» — Алозорьевск и его окрестности. «Свободного Труда» на карте не было. Пока Шаров укладывал бумаги в планшет, старик молча стоял у двери. Молча и как-то скованно. Совсем иначе, чем раньше. Интересно, какие новые указания он получил?

— Позовите, пожалуйста, Лукина.

Подпоручик явился незамедлительно.

— Устроились?

— Так точно, Иван Иванович, виноват, камрад капитан, — и тут Лукин не сплеховал, обращение не воинское, а партийное: мол, помни, друг, перед партией мы равны, и подпоручик, и капитан. Неизвестно еще, кто ровнее, да...

— Тогда, подпоручик, выясните, у кого была возможность отправить сообщение на Землю в течение срока от происшествия до публикации в газете. Составьте список, а позднее мы его изучим.

— Слушаюсь, камрад капитан, — Лукин браво развернулся, щелкнул каблуками. Как он быстро приноровился к Марсу, сокол. Тренировался?

— Теперь я хочу видеть Орсенева.

— Прикажете вызвать ее в ваш кабинет?

— Кабинет? Ах да, кабинет... Нет, я бы хотел встретиться с ней на ее территории. Далеко она работает?

— В Научном корпусе. Здесь все недалеко, в Алозорьевске, если идти сквозными ходами. Минут шесть, семь.

И действительно, через семь минут они были у входа в Научный корпус. Их ждали.

— Проходите, пожалуйста, — вид у встречающего был вполне академический, но Шарову показалось, что это — свой. В смысле — из того же департамента. Все там свои такие, что чужих не нужно. — Позвольте представиться — магистр Семеняко, товарищ директора по науке.

Магистр, да уж. Гец фон Берлихинген унд Семеняко. Шаров пожал протянутую руку.

— Капитан Шаров.

— Коллега Орсенева сожалеет, что не смогла встретить вас сама, но у нее в графике важный эксперимент. Она просит подождать, немного, минут десять. Или, если хотите, я проведу вас в ее лабораторию.

— Ведите.

Коридоры Научного корпуса пахли иначе —

аптекой, грозой, почему-то сеном, но не свежим, а тронутым, с мышинным пометом.

— Прошу, — открыл дверь Семеняко. Они оказались в небольшой комнате, сотрудники — три женщины в подозрительно свежих халатах — вытянулись при их появлении.

— Людмила Николаевна в боксе, — доложила одна из них.

— Работайте, работайте, — магистр неопределенно помахал рукой, и женщины вновь склонились над микроскопами. Бурная научная деятельность. Магистр подошел к стене, раздвинул шторы, открыв круглый, с блюдце, иллюминатор. — Бокс, — жестом он пригласил заглянуть внутрь. Смотреть, собственно, было не на что. Сквозь запотевшее стекло смутно виднеласьдвигающаяся меж стеллажей фигура в комбинезоне. — Здесь воспроизведена атмосфера Марса, — пояснил магистр. — Вернее, она была марсианской, но теперь, в ходе эксперимента, параметры ее значительно изменились. Не земная, пока еще нет, но ею вполне можно дышать, при определенной привычке, разумеется. Ну вот, коллега Орсенева сейчас выйдет.

Санитарный ответственный тоже посмотрел в окошко, но ничего не сказал. Он вообще помалкивал при Семеняко. Нужно учесть. Послышался приглушенный шум — за стеной, в боксе. Наконец дверь отворилась. Халат на Орсеновой был явно непарадный: мятый, жеванный и несвежий. Мы тут дело делаем, вот так-то. И сама хозяйка лаборатории производила впечатление уставшей, измотанной женщины. Впечатление? Чувств. Она на самом деле была такой.

— Орсенева, — рука ее дернулась навстречу, на полпути замерла, и уже волевым усилием протянулась в приветствии. Обычное дело при встрече со штатными служащими Департамента безопасности. Спинной мозг, подкорка, лобные доли коры...

— Капитан Шаров, — представился он. — Мне нужно поговорить с вами.

— Пройдемте в мой кабинет, — предложила Орсенева. Кабинет оказался в смежной комнате.

— Пожалуй, ответственному лучше остаться здесь, — магистр небрежно показал на Зарядина.

— Пожалуй, — согласился Шаров. — А так же и вам.

— Я тогда пойду к себе, — товарищ директора по науке не обиделся. Вдвоем с Орсеновой они прошли в кабинет.

— Чем могу быть вам полезна? — спросила она, едва они уселись на стулья. Неважные, кстати, стулья.

— Мне необходимо знать, что произошло в экспериментальном поселке. Насколько я понял, лучше вас никто об этом не расскажет.

— Это режимные сведения.

— Я и сам режимный человек, Лидия Николаевна, — Шаров показал свое генеральное удостоверение. — Убедились?

— Вполне, капитан. Собственно, эпизод произошел из-за технических накладок и к нам прямого отношения не имеет.

— Вот как?

— Мы, моя лаборатория, решаем одну из основных проблем поселенцев. Из всех трудностей, с которыми столкнулся человек на Марсе, недостаток кислорода наиболее серьезен. Температура, низкое давление — к этому большинство приспособляется, но крайне незначительная концентрация кислорода препятствует автономности поселений. Ежедневно приходилось — да и по сей день приходится — доставлять кислород с Земли, непродуктивно загружая канал перемещения. Сейчас мы близки к тому, чтобы отказаться от земного кислорода... — Вероятно, Орсенева произносила свою речь не единожды: слова, фразы словно мухами засижены. Интересно, есть ли мухи на Марсе? Надо Зарядина спросить, ему по должности знать положено... — Моя лаборатория, идя путями великой русской науки и творчески развивая идеи биологии Мичурина... — Точно, это доклад. Отчетный, юбилейный, перед жожаками. Послушаем и доклад. — ...вывела гибрид с уникальными свойствами. Взяв за основу один из видов лишайника, мы скрестили его с местным, марсианским грибом. Как работают земные растения? Разлагая углекислый газ, они используют углерод для построения своего тела, а кислород отдают в атмосферу. Наш же лишайник разлагает окись кремния, которого на поверхности Марса с избытком. В ходе процесса кремний идет на развитие растения, а кислород получают люди.

— То есть вы хотите дать Марсу земную атмосферу?

— Это в перспективе. Ближайшая задача — обеспечить кислородом наши поселения.

— И вы ее решили?

— Еще есть определенные трудности. Так, бурное развитие растений требует соответствующей органической подкормки, необходимо также закрепить наследственные факторы гибрида. Перед нами стоит задача сделать лишайник и пищевой продуктом.

— Это очень, очень интересно, Людмила Николаевна. Но как ваша работа связана с событиями в поселении «Свободный труд?»

— Свотра... «Свободный труд» — первый поселок, перешедший на полное самообеспечение кислородом.

• ГЛАВА 3

Текст кончился. Теперь Орсенева подбирала слова медленно, осторожно. Свои слова, не утвержденные, не одобренные. Слова, за которые придется отвечать.

— Значит, поселок — ваше детище?

— Нет, разумеется, нет. Мы лишь поставили в нем систему воздухообеспечения.

— И она не сработала, верно?

— Она работала вполне удовлетворительно, но преступная небрежность поселенцев привела к... Привела к тому, к чему привела.

— К гибели людей?

— Да.

Люцифериную панель в кабинете давно не обновляли, и света не доставало, однако Шаров мог поклясться — Орсенева была совершенно спокойна. Уставшая, вымотанная, но спокойная. Свотра — Шаров перешел на местное название — интересовала Орсенева постольку поскольку.

— В чем же заключалась эта... небрежность?

— Свотра — поселок производственный, все заняты на добыче русина, — слово «добыча» Орсенева произнесла по-горняцки, с ударением на первом слоге, — к тому же объявили ударную вахту, и дежурными по поселению оставили неподготовленных детей. Система «Легкие» работает так: днем, когда наиболее интенсивное высвобождение кислорода, он закачивается компрессором в баллоны, откуда ночью высвобождается на поддержку дыхания людей. Дети же пустили весь кислород в жилые отсеки, не наполнив баллоны и на треть. Чтобы их не наказывали, они подправили показатели манометров. Поэтому ночью и случился замор.

Слово сказано. Замор. Вот, значит, как...

— И все погибли?

— Да... Кажется.

— Кажется?

— Мы обследовали систему «Легкие» и дали заключение. Другими аспектами происшедшего занимались соответствующие службы.

— Сегодня вы тоже были в поселке?

— Да, проверяла работу оранжерей. Мы, совместно с инженерной службой, внесли изменения. Теперь создан страховой запас кислорода, и случившееся больше не повторится.

— Значит, поселок скоро снова примет поселенцев?

— Скоро? Он уже заполнен. И, нет худа без добра, мы даже смогли повысить концентрацию кислорода в отсеках за счет усиленной подкормки лишайника. Так что адаптация поселян прошла практически безболезненно, и Свотра скоро выйдет на график добычи. Нас, я уже говорила, напрямую производство не касается, но все-таки... Невыполнение плана может дискредитировать нашу работу.

Шарову казалось, будто он уже месяц сидит в этом кабинетике, ведет бесконечные и безрезультатные разговоры, ни на пядь не приближающие его к цели. Болезненная адаптация, не иначе. Пора проситься на добычу ру-

сина, где много-много кислорода.

— Благодарю вас за сотрудничество. Вероятно, мне придется и в будущем прибегнуть к вашей помощи.

— Я всегда готова исполнить свой долг. — Показалось ему, или действительно в голосе Орсеновой послышалось облегчение? Будто это имеет значение. Он попрощался, вышел в первую комнату, комнату с микроскопами, как обозначил он ее для себя. Три лаборантки (если это были лаборантки) поспешно уткнулись в окуляры. У двери, на стуле, терпеливо ждал Зарядин. Похоже, его очень интересовали плакатики, развешенные по стенам лаборатории:

РУССКАЯ НАУКА ШАГАЕТ СТОЛБОВОЙ ДОРОГОЙ!

НЕРУССКАЯ ЮЛИТ КРИВЫМИ ТРОПАМИ! ПРОСТОМУ, ЧИСТОМУ НАРОДУ — ПРОСТУЮ, ЧИСТУЮ НАУКУ!

Шаров опять подошел к окошку бокса, раздвинул кем-то сдвинутые шторы. Нет, видимость стала еще хуже, совсем запотело окошко. Легкие, значит.

— До свидания, сударыни, — сказал он громко.

Те хором пробормотали что-то неразборчивое. Что ж, была без радости любовь...

— Куда теперь? — Зарядин, похоже, набрался бодрости в обществе дам. — К товарищу директору по науке?

— А вы сумеете найти его? — Шаров с сомнением посмотрел на переходы Научного корпуса. Не все двери и номера-то имели, а что-бы табличку какую — роскошь, излишество.

— Разумеется. Я в Алозорьевске каждую щель знаю. — Санитарный ответственный, похоже, не хвастал. Просто искренне заблуждался.

— Сколько же человек работают в Научном корпусе?

— Семьдесят четыре, — Зарядин ответил сразу, без запинки. Таблица умножения на пять.

— А в Алозорьевске?

— Постоянный штат — две тысячи четыреста человек. Ну, еще, конечно, люди из рабочих поселков бывают, поселенцы...

— И много их, рабочих поселков?

— Вот этого не скажу. Не мой уровень. Про десяток слышал, а сколько всего... Тысяч шесть народу, приблизительно.

Ладно, ограничимся пока восемью тысячами четырьмястами подозреваемыми. Минус единица. Лицо, называющее гибель людей замором, вне подозрений. Пока.

Магистр Семеняко оказался за дверью номер четырнадцать.

— Вот, видите, пакость какая, — он показал Шарову баночку. — Наши медики дали. Руки болят. Кожа трескается и заживать не хочет.

— Правда? — Шаров внимательнее посмотрел на руки магистра. Не хватает еще лишь подцепить.

— Нет, это не заразно, — Семеняко перехватил взгляд капитана. — Наверное, из-за контакта с металлами.

— Какими металлами? — Шарову стало неловко. Хорошо, нечего сказать. А еще докторский сын.

— Моя тема. Естественное перемещение. Удивительный феномен, знаете. Вот уран, например. Исчезает невесть куда, а на его место, опять же невесть откуда, перемещается свинец. И это безо всяких генераторов, молний, тихо и незаметно.

— Очень интересно, — покривил душой Шаров.

— Энергия, безусловно, расходуется, но внутренняя. Добраться до нее, извлечь, заставить работать — задача, достойная русской науки, — Семеняко обернулся на портрет Ломоносова, висевший над столом.

— Насчет науки, — Шаров решил, что одной лекции за день достаточно. — Какие работы ведутся здесь, в Алозорьевске?

— В основном прикладные, связанные с освоением. В перспективе, когда мы получим статус отделения Академии, сможем заняться и фундаментальными вопросами, но сейчас от нас ждут практической отдачи, быстрой и эффективной.

— А поподробнее?

— Прежде всего, лаборатория Орсеновой...

— Это я знаю, — поспешно вставил Шаров.

— Биохимическая лаборатория, самая большая, двадцать человек. Переработка органики, построение полузамкнутого цикла. Питание переселенцев — вопрос вопросов. Затем — механики. Разработка коммуникаций, транспортники. Группа астрономов — три человека. Метеорологи, геологи. Моя группа. В общем, решаем сугубо практические задачи. На создание вечного двигателя, беспроволочного телеграфа и прочих утопий не отвлекаемся.

— Вы все перечислили?

— Остается лаборатория директора. Там, действительно, теоретики. Наблюдение за полями перемещения и создание единой теории поля. Два человека.

— Вы как будто скептически относитесь к этой проблеме?

— Помилуйте, разве я смею? Я всего-навсего магистр, а Кирилл Петрович Леонидов — академик, десять лет провел в Кембридже.

— Но разве теория поля не признана лженаучной? — Шаров вспомнил университетские семинары. «Вещество, вещество, и еще раз вещество!» — ломоносовский завет.

— Директор вправе сам выбирать себе тему, — дипломатично ответил Семеняко.

— Вы поддерживаете связь со своими кол-

легами?

— Ну... — Было ясно, что Семянко задет. Словно калеке в лицо сказали, что он калека. — Мы получаем литературу — журналы, монографии... Сами посылаем статьи, без подписи, но все же...

— А личное общение? Ваши сотрудники, вы сами бываеете на симпозиумах, съездах?

— В силу специфики нашего учреждения в настоящее время персональное участие в такого рода мероприятиях считается нецелесообразным, — бесцветным, невыразительным голосом ответил Семянко, но глаза кричали: «Ублюдок! Поганый, сволочной ублюдок!».

— Хорошо. Контакты с зарубежными учеными также отсутствуют?

— Год назад была английская делегация. Со станции «Берд». Об этом много писали в Газете.

— Я помню. «Встреча в Алозорьевске». Визит вежливости, не так ли?

— Прибыли два представителя марсианской станции «Берд», познакомились с городом, посетили Научный корпус, провели совместный эксперимент — определение напряженности поля перемещения, и в тот же день отбыли назад, — монотонно, механически общал Семянко. Говорящая машина к вашим услугам. — В непосредственном разговорном контакте в Научном корпусе были задействованы двое: директор Леонидов и я, в постановке эксперимента с российской стороны участвовали те же. Отчет о встрече передан в соответствующие инстанции, замечаний не последовало.

— Чего только в этих инстанциях не случается. А как, каким путем оказались здесь англичане?

— Сначала со станции «Берд» их переместили через Гринвич и релейную цепь в Пулково, а уж из Пулково — сюда. И возвращались они так же.

— А напрямую? Возможно перемещение напрямую?

— Исключено. Во-первых, станция «Берд» от нас в трехстах верст, понадобилось бы полдюжины ретрансляторов. И во-вторых, и наши, и «бердовские» передатчики работают в зеркальном режиме — мы возвращаем на Землю ровно столько массы, сколько она посылает нам. Собственной мощности не хватит на посылку и кошки.

— «Сколько в одном месте прибудет, столько в другом тут же убавится», — процитировал Шаров слова основоположника наук. Вернее, прочитал — они бронзовыми буквами выведены были под портретом Михайлы Васильевича.

— Совершенно верно.

— Насколько я помню, намечался ответный визит?

— Намечался. Но в настоящее время ника-

кой подготовки не ведется.

— Да-да... — Шаров знал, почему. И каждый знал. Год назад Россия пыталась подружиться с Англией против Германии, но сейчас английская оттепель кончилась, вернулись морозы. Оймяконские.

— А письма? Вы... или академик Леонидов? Не обмениваетесь ли письмами с англичанами? — сказал, понимая, что несет чушь.

— Ну какие письма, капитан! — вдруг озлился Семянко. — Я из дому, от жены три года вестей не имею. Мы — и письма в Англию! Без права переписки, понимаете? Без права!

— Вы успокойтесь, — Шарову Семянко не понравился с самого начала, но сейчас на мгновение стало жаль магистра. Жалельщик нашелся. Работу работай, тогда и жалеть времени не станет. Уяснил? Так точно, ваше-ство! Я страсть какой умный!

— Простите, — товарищ директора по науке взял себя в руки. — Что-то я не того наговорил.

— Ничего страшного. Значит, утечка сведений отсюда исключается?

— Во всяком случае, я не представляю такой возможности. А что, имеет место?

— Имеет. Только это секрет.

— Понимаю... — Семянко посмотрел на санитарного ответственного.

— Он допущен, — успокоил магистра Шаров. Бо-ольшой такой секрет, секрет на весь свет.

— Если вы хотите видеть академика...

— Хочу? Это моя обязанность. Все, что я делаю здесь — обязанность. Здесь и в любом ином месте.

— Тогда позвольте мне представить вас академику. Ваш провожатый... Академик иногда бывает резок.

— Я подожду вас в музее, — с готовностью согласился Зарядин. — Он здесь, рядышком, в фойе конференц-зала.

Академик Шарова не узнал. Еще бы. Сколько лет прошло — пятнадцать? Нет, двадцать один. Не люблю арифметику. Слишком точная наука.

— Пополнение? На укрепление научных сил?

— Нет, — поспешил представить Шарова магистр.

— А... Департамент... Наукой заинтересовались?

— У нас всем интересуются.

— Широкий профиль? Похвально, похвально. Может быть, просветите старика, а то бьюсь-бьюсь который год, а до сути добраться не могу.

— К вашим услугам. Если вопрос мне по силам.

— По силам, по силам. Вы ведь доки. Так вот: почему Луна не из чугуна?



АЭЛИТА





А он шутник, академик. И даже фрондер — вместо обязательного портрета Ломоносова повесил англичанина.

— Интересуетесь? Это сэр Исаак Ньютон. Не последний человек в мире науки, поверьте.

— Нисколько не сомневаюсь.

Портрет был неплох. Настоящий портрет, не олеография. И смотрел сэр Исаак с грустью — вот и ему пришлось хлебнуть Марса. Не думал, не гадал, и надо же... От сумы, тюрьмы и Марса никогда не зарекайся. Действует атмосфера кабинета. Раньше, двадцать лет назад, попасть в лабораторию Леонидова было мечтой любого студента, легенды о Леонидовских пятницах ходили самые невероятные. Сбылась мечта. Как всегда, не так и не тогда.

— Ну, капитан, что в вашем департаменте насчет Луны решили?

— Луны? А зачем ее из чугуна делать? Непрактично. Тяжелой Луне никак нельзя быть, оторвется от хрустального свода, двойной ущерб: в небе дырка и на Земле что-нибудь раздавит. Да и чугуна столько не отлили, на целую Луну. На месяц разве, и то на самый узенький.

— Удовлетворительно. С двумя минусами за избыточность аргументов. Что на этот раз заинтересовало ваш департамент?

— А мы всем интересуемся: кто знает, что в жизни пригодится? Позавчера перемещением, вчера русином, завтра, может быть, свойствами урана... — Шаров заметил, как улыбнулся сконфуженно Семеняко. Ничего, ничего, все может быть, и уран на что-нибудь сгодится.

— Так чем могу служить?

— Пока не знаю, — честно ответил Шаров.

— Знать вопрос — все равно, что знать ответ, — назидательно произнес академик. — Может быть, вас интересует теория поля? Или наличие электрических разрядов в атмосфере Марса — мы тоже прикладной тематики не чужаемся. Такой громоотвод соорудили, только сверкни где молния. Будете снаружи, обязательно полюбуитесь.

— А что, есть молнии?

— Марсианские. По мощности — миллионные доли земных. Впрочем, все отчеты регулярно передаются по станциям.

— Пожалуй, я подумаю над вопросами. И тогда, может быть, снова побеспокою вас.

— Уж в этом я уверен, капитан, — академик даже не привстал со стула. Пренебрег. Ох, академик Леонидов, академик Леонидов...

Музей Научного корпуса оказался дюжиной стендов: защитный костюм покорителя, дыхательная маска покорителя, макет приемопередатчиков материи Попова-Гамова, образцы полезных ископаемых, целый стенд отдан русину: химический состав, сравнительный анализ местных и земных (боливийских) образцов, макеты добывающих машин, схема рудника

«Русич» — все очень познавательно. Но Зарядин предпочел стенды природы: флора и фауна. Шаров тоже полюбопытствовал. Марсианский шакал напоминал карикатурного бульдога с огромной грудной клеткой и длинными зубами.

— Это он с виду грозный, — Зарядин показал на чучело. — А на деле, так видимость одна. Фунта четыре весит, массфунта. Одни легкие внутри, а кости — что прутики, гнутся. Зубов, правда, много, в три ряда.

Марсианские зайцы смотрелись, почти как земные.

— Послушайте, Зарядин, сколько вам лет?

— С одна тысяча седьмого года. Тридцать два, если по земному считать.

— Проводите меня в Департамент. Кажется, у меня там есть кабинет.

ГЛАВА 4

Шаров запечатал пакет и протянул его Лукину.

— Это наш сегодняшний рапорт. Проследите, чтобы его переправили поскорее.

— Слушаюсь, камрад. — Лукин аккуратно спрятал пакет в планшет. — Очередной сеанс перемещения совсем скоро, с ним и перешлю.

— И помните: вы отвечаете за сохранность документов. Здесь никто, повторяю, никто не вправе прикоснуться к пакету.

— Я лично вложу его в почтовый контейнер, — заверил подпоручик.

— Прекрасно. И тогда будем считать сегодняшний день завершенным. Отдыхайте. Жду вас завтра здесь — с самого утра. День будет сложным.

Подчиненный должен быть загружен, чтобы времени не оставалось на доносы. Урывками, на бегу, второпях разве донос напишешь? Так, жалкую кляузу. Еще никто начальника за то, что подчиненных школил, не наказывал. А наоборот — сплошь и рядом. Он же, подчиненный, и наказывал. «Как истинный патриот любимого мною Отечества, считаю обязанностью своею довести до Вашего сведения, что...» и т.д. и т.п. Доказывай потом — без права переписки.

В дверь постучали. Никак Лукин обернулся? Или налетели на него шпионы и отбили пакет — шесть страниц рутины?

Оказалось — санитарный ответственный. Просто лист банный, а не человек.

— Я — за нарочного. Велели передать, — он протянул незапечатанный конверт. Шаров открыл клапан, достал бумагу — белую, гладкую. Документы на такой не пишут. Смазывается текст, стоит раз-другой пройтись по поверхности.

Это было — приглашение. Мол, по-простому, будут только свои, без формальностей. К первому вожаку. Он посмотрел на часы. Оставалось едва с полчаса.



— Большая честь, — пробормотал он. — А куда же идти?

— А я на что? — Зарядин был в курсе. — Успеете, успеете.

— Ну, тогда побежали... в номер два «А», так, кажется?

— Совершенно верно.

Наверное, он и один нашел бы свое пристанище. На следующий день или попозже, но нашел. Хотя чего легче: серый коридор департамента, два коридора управления, затем городские переходы: голубой, поворот налево, красный, поворот налево и прямо, зеленый, два поворота направо. Все. Шесть минут в хвосте Зарядина.

— Так я за вами зайду через двадцать минут, — деликатно откланялся на пороге санитарный ответственный.

За это время Шаров успел израсходовать всю первичную воду (оставил стаканчик для питья) и переодеться в парадный мундир. Наставление для г. офицеров: всегда, в любом месте вы должны иметь с собою парадный мундир и смену чистого белья, чтобы, будучи приглашенными в светское общество, могли выказать себя как подобает человеку военного звания. Не дураками писано!

По Зарядину можно было часы проверять. Человек-хронометр. Как рассказал ответственный Шарову, время на Марсе было разное. В Алозорьевске — столичное, так столице было удобно, и какая разница, все равно неба нет, а в поселениях времени вообще не было, жили по гудкам: побудка, работа, проверка.

Шаров уже не удивлялся безлюдью переходов: не принято было в городе гулять. Отслужил четырнадцать часов, поел где кому положено — и отдыхай, зря кислород не жги. Общаться — перед службой, на политчасе. Ничего, на Земле тоже к тому шло.

Квартал вожakov — просторный, раза в три шире других — охранялся. Тамбуров не было, но воздух всегда оставался свеж. Отсюда он и растекался по всему Алозорьевску по сложной вентиляционной системе, двести верст ходов и труб, а бежит сам, без моторов, естественным током.

Шаров слушал пояснения Зарядина, недоумевая, зачем было посылать на Марс его, Шарова. Спросили бы санитарного ответственного, кто шпион, и дело с концом. Очень даже просто.

Резиденция первого вожака узнавалась безошибочно: будочка с охранником, яркие панели люцифериновых светильников, даже что-то вроде площадки.

— Деятнадцать ноль-ноль. Я буду вас ждать. У входа в квартал.

Охранник доложил о нем в переговорную трубу и, получив разрешение, пропустил Шарова.

— Первый вожак ждет вас, — двери распах-

нул не то денщик, не то вестовой — в армейской форме, но без погон. — Следуйте за мной.

Следовать было куда: анфилада комнат, переходы, переходы...

— Капитан Шаров! — возвестил вестовой.

Гостиная была — впору земной: большая, высокая, лишь отсутствие окон выдавало Марс. За роялем сидела барышня, наигрывая упаднического Шопена; с десяток человек делали вид, что слушали.

— Иван Иванович! — встретил его третий. — Хозяин сейчас будет, а пока я познакомлю вас с нашим, так сказать, бомондом.

«Так сказать бомондом» оказались местные вожаки — расселения, снабжения, добычи (опять с ударением на первом слоге) и перемещения — вместе с женами. Шарова они встретили настороженно, хотя и улыбались, как улыбаются новой собаке начальника: вдруг укусит, гад. Было сказано несколько приличествующих слов о Матушке-Земле, выражены надежды на дальнейшее продвижение по пути народного благоденствия и все прочее, произносимое в присутствии офицера Департамента. Скучно и неловко. Наконец, процедура знакомства окончилась, и Шарову удалось с видом озабоченного и занятого человека сесть в уголке рядом с симпатичной акварелью — весна, лужи и проталины, опушка голого леса.

— Нравится? — Барышня покинула рояль и присела рядом с ним на диванчик. Тот и не скрипнул.

— Нравится.

— Это моя работа.

— Очень нравится, — Шаров не лукавил. — Крепко написано. Школа Лазаревича?

— Угадали. — Барышня смотрела на Шарова с неподдельным интересом. — Или вы знали?

— Что знал?

— Лазаревич — мой учитель.

— Вам нравятся его работы?

— Я говорю не в переносном, а в буквальном смысле. Он дает мне уроки живописи.

— Вот как? — Непохоже, чтобы она шутила.

— Я — Надежда Ушакова, дочь Александра Алексеевича.

Дочь первого вожака Марса? Тогда понятно. И раньше понятно было, а сейчас еще понятнее.

— А музыке кто вас учит?

— Рахманинов. Только я неважная ученица.

Девушке было лет семнадцать, и милая непосредственность, с которой она говорила о своих учителях, не раздражала, напротив, казалось, так и должно — Лазаревичу и Рахманинову учить это диво. На Марсе. Без права переписки.

— А про вас мне *рара* рассказывал, он на



вас материал с Земли получил. Вы — капитан Шаров, лучший в своем роде, правда?

— Каждый из нас в своем роде многого стоит. — Шаров и не пытался разгадывать планы первого. Разве не может он заинтересовать юную барышню сам по себе? Все же офицер, новое лицо. Имеет он право потешить себя иллюзией обычной жизни?

Конечно. Конечно, нет.

— Вы действительно видели цесаревича? Я имею в виду — близко? Разговаривали с ним?

— Как с вами. — Вот теперь понятно. Девушка мечтает о прекрасном принце. Дочь вожака — монархистка. Парадокс? Среди молодежи приверженцев монархии становится больше и больше. Скоро Департамент сочтет это проблемой и начнет решать. Ладно, что это он все о плохом да о плохом.

— Он действительно красив, цесаревич? Я спрашиваю как художница, — поспешила добавить девушка, краснея.

— Вероятно. Я не ценитель мужской красоты. Нормальный, хороший мальчик. Ему всего четырнадцать лет.

— И у него нет страшной болезни его отца?

— Нет, цесаревич Николай совершенно здоров. — Бедняжка, наверное, искренне считает, что император Алексей скончался от гемофилии. Почему нет? Она же не служит в Департаменте.

— Там, в бумагах с Земли, написано, что цесаревич хотел сделать вас бароном.

Ну вот, и до Марса дошли слухи.

— Баронами рождаются, Надежда Александровна.

— Просто Надя.

— Хорошо. Надя.

— Я знаю, цесаревичу этого не позволил регентский совет. Но потом, когда он коронуется?

— Подождем и посмотрим, Надя. Вы давно на Марсе?

— Четыре года. Как *rara* сюда направили, так мы с мамой здесь и живем. Четыре года — это много?

— Ну...

— Говорят, что если пробыть на Марсе пять лет, то потом невозможно вернуться на Землю. Тяжесть придавит.

— Какая в вас тяжесть, Надя? И потом, разрабатываются новые методы, приспособления. Да, какое-то время тяжело, но потом все входит в норму.

— Я тренируюсь. Знаете, кольчугу ношу. Нет, не сейчас, — она поймала взгляд Шарова, — Гимнастикой занимаюсь, на охоту с *rara* хожу. Это ведь поможет?

— Безусловно.

— Это вы так говорите. Успокаиваете.

— Я не врач, но думаю — движение никому не вредит. Физическая культура. *Mens sana in*



corpore sana.

— Надеюсь, — вздохнула Надя.

Шаров осмотрелся. На них не то, чтобы взгляды, но искоса поглядывали. Замкнутое общество. Запасаются темой для пересудов. Офицер, беседуя с дамами и, особенно, с девицами, вести себя должен сообразно правилам общества, не допуская громкого смеха, излишне вольных жестов, двусмысленных выражений и прочих действий, кои можно было бы злым языком толковать превратно.

— Конечно, вам скучно, — Надя понимающе вздохнула. — Вы привыкли к великосветскому обществу, а мы здесь все — кухаркины дети. Кроме меня, я — кухаркина внучка, — она с вызовом посмотрела на Шарова. Продукт великих перемен, здорового движения нации, обновление аристократии.

— Скажу вам по секрету — я сам сын кухаря.

— Ну, вы... — и, спохватясь, добавила: — То есть я хочу сказать, что вам не приходится корчить из себя важную персону. Вожаки! Но ведь на Марсе.

— В древности говорили: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме.

— Быть в Риме и значит — быть первым, — возразила Надя. — Но чтобы это понять, надо навсегда поселиться в деревне. Вы пойдете с нами завтра на охоту?

— Боюсь, меня ждут другие дела.

— Но вы ведь быстро справитесь с вашим заданием, правда?

— Я постараюсь. — Ну вот, началось. Всем нужен скорохват. Чтобы поймал поскорее, кого нужно, мы сами подсказем, кого, и убрался бы отсюда подальше, людей не нервировал. А за нами не пропадет, отблагодарим, не сумлевайся.

— Какая у вас интересная работа, я читала в книгах — про майора Пронина, капитана Иванова. Даже жуть захватывает.

О, капитан Иванов! Герой списка разрешенных книг, дитя Отдела пропаганды, былинный богатырь, пачками отправляющий на тот свет тайных и явных врагов нации! Голубоглазый рука с соломенными волосами! Тебя любит, о тебе мечтает марсианская дева!

Завидки берут, кухарев сын.

Шаров откашлялся.

— Видите ли, Надя, книги, беллетристика, не всегда совпадают с реальностью.

— Правда? Я, конечно, понимаю, что пишут о самом интересном, опуская детали, но ведь и интересного — много?

— Бывает, — пришлось соврать Шарову.

— Вот вы скажите, что главное для контрразведчика: смелость, проницательность, умение драться и стрелять?

— Умение выполнять приказы, наверное. Не знаю. Я ведь не контрразведчик.

— Ну, все так говорят.



Да уж, говорят. «Жандармская ищейка» — это если еще литературно, при дамах.

— А на кого вы собираетесь охотиться?

— Сейчас, летом, много шакалов. Жируют, кроликов травят. А мы — их.

— Кроликов, значит, спасаете. — Шаров стало неуютно. Шакалы охотятся на кроликов, люди — на шакалов, Департамент — на людей. При чем здесь Департамент? Охотится персонально он, капитан Шаров, спасая... Знать бы, кого он спасает. Себя, любимого. Свою собственную побитую молью шкурку. Дрянцо шкурка, так ведь другой нету. И рад бы поменять, а нету. Издержался, потратился. Бедный, бедный капитан Шаров...

— А вот и *rara*, — спасла от слез Шарова Надя. Очень, очень своевременно. Что может быть банальнее рыдающего офицера Департамента? Разве нильский крокодил.

Присутствующие не то, чтобы замолкли совсем, но — притихли. Присмирели. Вожак пришел.

— Не заговорила она вас, капитан? — Ушаков подошел прямо к ним, минуя иных. — Надя у нас известная болтушка.

— Но, *rara*... — запротестовала дочь.

— Ладно, ладно, лучше сыграй нам что-нибудь веселенькое, приятное.

Надя обижено села за рояль и забарабанила «собачий» вальс.

— Скоро взрослеть начнет, — немного озабоченно проговорил первый вожак. Допустил до семейных дел. За своего, значит, считает. Цены, капитан.

Надя перескочила на Штрауса.

— Пам, пара-пам, пам-пам, пам-пам, — вторил ей отец. — Превосходно, не так ли? — Было неясно, относится ли это к мелодии, исполнению или самой исполнительнице, но Шаров согласился со всем.

— Итак, капитан, можем ли мы надеяться на скорейшее завершение вашей сложной и ответственной миссии?

— Наверняка сказать пока трудно...

— Помните, что мы готовы оказать вам любое содействие. Любое, понимаете?

— Я очень ценю ваше содействие, — Шаров смиренно склонил голову. Понимаю, как не понять.

— Обычно... В вашей практике... Сколько времени уходит на обнаружение врага?

— По-разному. Бывает, дня хватает, бывает, месяца мало. Конкретные обстоятельства, знаете ли...

— Разумеется, наш случай не рядовой, но и успех будет весомее, — гнул свое первый вожак.

— Я надеюсь, — не стал больше мучать его Шаров, — повторяю, только надеюсь, что дело мы закроем быстро, дня за два, за три.

— Отлично, — повеселел Ушаков. — Ваша репутация известна и здесь, потому-то я и рад,

что именно вам поручено заняться нашими делами.

— Я польщен.

Два-три дня. Фокус-покус. Кунштюк. Айн, цвай, драй! Шпион, вылезай! Ну, а кто даст ему времени больше? Не справится Шаров за три дня, справится за день Лукин.

Веселье хозяина передалось всем: люди задвигались, заговорили громче, некоторые даже смеялись. Пора неопределенности миновала, можно и разрядиться. Хороший человек этот Шаров. Понимает свое место. Именно такие люди при нашем благосклонном участии должны преуспевать на избранных поприщах.

Надю за роялем сменил какой-то старичок, и задорная музыка лубочных оперетт оказалась кстати, некоторые даже принялись подпевать. Большая, дружная семья простых здоровых людей.

Шаров еще говорил и с Надей, и с другими ценителями искусства,пил крымские вина, весьма недурные, ел бутерброды с обязательной икрой, его слушали не без внимания, вежливо возражали и горячо соглашались. В общем, вечер прошел, как в книгах про майора Пронина: шампанское и блондинки. А кто-то сомневался в правдивости беллетристики.

После приема первого вожака номер 2-а оказался совсем уже клетушкой. Провинция, как же. В провинции, даже в самой дремучей, номера все же имеют окна. Можно открыть, послушать вечерний шум, подышать просто, в конце концов. А тут — просто крысук в лабиринте. Марс! Сколько он здесь пробыл, двенадцать, нет, пятнадцать часов — наверное, из-за разряженности воздуха вино пьянит втрое против земного... Да-с, пятнадцать часов тридцать три минуты, милостивый государь, а он и камешка марсианского не видел. Ничего, дело поправимое. Зато он познакомился с чудесной девушкой Надей, которая так заинтересовалась судьбой цесаревича, словно от того зависела и ее судьба. А разве нет? Она и на будущего барона Шарова глядела, словно на принца, приехавшего за ней из неведомого прекрасного далека. Из рая. С Земли, где много-много молодых, красивых и разных людей, где много воды, воздуха, много всего. А здесь — отец, не желающий смотреть правде в глаза, не понимающий, что год-другой — и дочери придется остаться на Марсе навсегда.

Впрочем, Ушаков не производит впечатление непонимающего. Все он понимает. Просто сделать ничего не может. Вот и кидает дочь взоры отчаяния и надежды на жандармского капитана Шарова.

Неужто так скверно?

Марс. Марс, Иван Иванович. Ты сам сначала отсюда выберись, а уж потом о принцессах грезь. Ищи, ищи, капитан, это твой шанс делом доказать преданность Отчизне. А то боль-



но умным хочешь быть.

Шпион. Найти шпиона легко. Стоит лишь понять, как тому удалось сообщить о гибели экспериментального поселения на Землю. Вот и вопрос: как?

За ответом тебя, капитан, и послали на Марс. Ты, брат, давай, того... Думай, что ли... Если ничего другого не умеешь. Иначе не то что вина — воды первичной не увидишь. Расстарайся, браток. Есть чего ради.

ГЛАВА 5

— Это не так и сложно. Берем два списка: первый — лица, знакомые с проектом «Легкие», и второй — лица, имеющие доступ к передатчику. Общие, входящие в оба списка фамилии и есть искомые подозреваемые, — делился премудростями курсов Департамента Лукин.

— Да? — голова после вчерашнего болела совсем по-земному. А рассола нет. Ближайшая бочка за сто миллионов верст.

— Списки у нас имеются. Совпадают всего четыре имени. — Подпоручик положил перед Шаровым лист. Жирные красные линии подчеркивали намеченных шпионов. Плоды просвещения. Radicis....

— Губа не дура... — В списке оказались Ушаков, Спицин, Зарядин и некто Салов К.Т. Ах да, вожак перемещения, толстячок, у него еще жена так забавно пела: «Из-за острова на стрежень...». Вольно же ему было про «Легкие» знать. — Да, замах у вас богатырский.

— Высокое положение не освобождает от подозрений. — Лукину явно хотелось поскорее получить маршалский жезл. Если в Столице раскрыт заговор генералов, то почему в Алозорьевске не быть заговору вожаков?

— Не освобождает, — согласился Шаров. — Подозревайте, сколько угодно. Но — про себя. У вас есть допуск «П-1»?

— Н... Нет.

— Тогда вы нарушаете параграф четвертый Уложения о проведении следственных действий в отношении лиц высших категорий значимости. А это можно расценить как преднамеренную дискредитацию представителей народной власти, со всеми вытекающими последствиями.

— Но я... я только высказал предположение... В порядке подчиненности. И потом, в списке есть Зарядин, — нашелся Лукин.

— Значит, подпоручик, вы считаете, что сведения были переданы на Землю кем-то из вашего списка?

— Санитарным ответственным Зарядиным.

— Как же удалось ему это сделать?

— Надо допросить, он и расскажет.

— Ну, а все-таки? Без допроса?

— Вероятно, ему удалось поместить сообщение в камеру перемещения.

— А дальше?



— А на Земле его сообщник извлек сообщение и переправил в Лондон.

— Значит, есть сообщник?

— Обязательно. Как же иначе?

— Но на Земле поработали над всеми, имевшими допуск к Марсианскому каналу перемещения. И сообщника не нашли.

— Я не знал... Но такое бывает. Особо подготовленные агенты могут пройти самый искусный допрос. В любом случае, даже если виновен и не Зарядин, то на Земле кто-то информацию получил? Не могли же сведения попасть в Лондон святым духом?

— Ваши умозаключения, Лукин, страдают ограниченностью. Вы настаиваете на том, что сообщение было передано на Землю именно отсюда, через Главные ворота?

— Но ведь других передатчиков нет!

— Вы уверены? И даже если нет здесь, в Алозорьевске, существует еще станция «Берд».

— Англичане? Но ведь до них не добраться!

— Это почему же? Потому что нет станции перемещения? Вовсе нет. Нас разделяет всего триста верст.

— Вот видите...

— Триста верст, подпоручик, экипаж может преодолеть за двое суток, даже быстрее. Особых препятствий в техническом плане нет.

— Но... без ведома руководства...

— Вы непоследовательны, подпоручик. Если вам достало смелости обвинять первых вожаков Марса в передаче материалов через канал перемещения, — не оправдывайтесь, — то почему бы им — или одному из них — не послать верных людей на станцию «Берд»?

— Значит, и вы считаете...

— Я только рассматриваю возможности. В рабочих поселках тоже есть экипажи, а переход мог состояться тайно. А почему именно экипаж? Пеший переход также не исключен.

— Но... Триста верст! Мороз, отсутствие воздуха — разве может кто-нибудь одолеть такой путь?

— Как знать. Морозы сейчас послабее сибирских, а воздух... Я справлялся — батарея на сутки весит полпуда. Это масса — то есть здесь, на Марсе, она куда легче. На пять дней выходит не так уж много, можно унести на себе. А за пять дней пересечь триста верст трудно, но не невозможно.

— Но, камрад, сроки... Как они успели?

— Успевают, впритык, но успевают. И потом, они могли выйти и заранее.

— Тогда, получается, замор на Свотре был подстроен? Саботаж?

— Именно, подпоручик. А вы — тят, ляп, и готово. Хватай вожаков.

— Но ведь это тоже — лишь предположение?

— Конечно. А мы приехали сюда за факта-



ми. Так что готовьтесь, подпоручик, мы отправляемся на место события.

— На Свотру?

— В экспериментальный поселок «Свободный Труд». Наш добрый ангел Зарядин готовит экипаж. Он обещал управиться к десяти часам. Пейте битень, и мне передайте кружку.

Хорошо бы послать одного Лукина, а самому — отлежаться где-нибудь на травке, пока голова не перестанет страдать. Но здесь и травки-то нету никакой. К тому же, вдруг и вправду удастся хоть что-то отыскать. Пеший переход к англичанам, надо же. В Отдел пропаганды надо проситься, капитан, про Пронина романы сочинять.

Зарядин явно был педантом. Казалось, он специально ждал за дверью, чтобы войти минуту в минуту.

— Экипаж готов. Стоит в третьем шлюзе. Вожатый опытный, на Свотру ходит постоянно.

Очередная декомпрессия прошла почти незаметно — едва успели надеть наружные костюмы. Шаров огляделся в зеркале. Ну, настоящий покоритель Марса. Или боярин времен Ивана Великого.

— Коробочка, что на поясе — неприкосновенный запас. На полчаса воздуха хватит, если что.

— Что это за «если что»? — Наверное, коробочка Лукину не глянулась. Маловато будет.

— Вдруг нужна какая, например, выйти из экипажа приспичит. В экипаже-то свой запас воздуха, вы к нему подключитесь и дышите вволю.

— И долго дышать можно? — Может, у Лукина фобия?

— Неделю. Так что не бойтесь. — Зарядин подвел их к небольшому шестиколесному паровичку. — Вам будет удобно.

Тут он приврал. Или у него были свои понятия об удобствах. Особенно мешала трубочка, ловко просунутая санитарным ответственным в ноздрю и куда-то (не хотелось и думать — куда!) дальше.

— Привыкнете. Зато достигается абсолютное усвоение кислорода, — заверил Зарядин. Он постучал в переборку вожатого, и экипаж подкатил к открывающимся воротам шлюза.

Обзор из кабины был отличный. Что ж, художники рисовали похоже. Все есть — темное, провальное небо, пески, низенькие барханы, колючки. Лицо и руки слегка покалывало. Ничего, не лопнут.

Шаров откинулся на жесткую спинку сидения. Иногда и на его службе бывают приятные минуты. А что до прочего — но ведь он только выполнял приказы, а об остальном знать ничего не знал. Гипотетическим внукам так и рассказывать будет. Верил, мол, в необходимость великого служения России, вашу мать. Дерьмо совестливое. Худший из палачей — палач оправдывающийся. Водочки бы...

Голове, к счастью, полегло, хорошая шту-

ка — кислород, и он смирился с трубочкой в носу. Все же это лучше, чем водолазный шлем первых покорителей.

— Как вам пейзаж? — Зарядин тоже наслаждался поездкой.

— Словно в синеме.

— Вы на город, на город посмотрите.

Шаров оглянулся. А вот Алозорьевск подкачал. Обычно его изображали сверкающей громадой, стекло и металл, а в действительности оказалось что-то вроде песочных крепостей, которые детишки строят на пляжах. Он поискал мачту, о которой говорил Леонидов. Не Адмиралтейская игла, но тоже высокая.

Бетонные кубы скоро скрылись из виду — то ли быстро ехали, то ли Марс слишком круглый, — но игла торчала, ожидая свою молнию. Экипаж катил и катил, трубка в носу действительно забылась, пришло восторженное, гимназическое настроение. Горная болезнь. Горы — вон они где, вдалеке. Неиссякаемые источники драгоценного русина, марсианского злата. Вдруг и русин — в Лондон? Пудами, вагонами? Построили англичане тайком в горах станцию перемещения и гонят стратегическое сырье прямо в Бирмингем, или где они там варят сталь. Лукину надо подсказать, пусть поищет. Какая все-таки мура в голову лезет.

— Скоро будем, — подбодрил всех Зарядин.

Остановились они посреди пустоши.

— Где же поселок? — Лукин подозрительно оглядывался, не завезли ли их куда. Бросят, никто и не помянет какого-то подпоручика. Никак нельзя такого допускать. Ему жить нужно до генеральских чинов, а после и подavno жить, уже просто, для души.

— Прямо перед вами. Неужели не видите?

Они увидели, но поверили не сразу. Какой-то деревенский погреб едва возвышался над песчаной почвой, и это — Освобожденный Труд?

Открылись ворота, экипаж с трудом заехал в шлюзовую камеру. Тесно.

— Бараки устроены внизу, вроде землянок. Дежурный сейчас откроет вход. Вы пока переключитесь на свой воздух, все-таки — поселение, гигиена отстает. — Зарядин первым отсоединился от бортовой батареи.

Открылся не вход, а — лаз. Во всяком случае, пригнуться пришлось чуть не в пояс. Крышка задвинулась, и всех окружила тяжелая смесь запахов. Испарения, испражнения и разложение. Лукин, который, подражая Шарову, не подключился к неприкосновенному запасу, подумаешь, десять секунд не дышать, теперь торопливо прикреплял свободный конец воздуховода к коробочке. Вот, значит, почему НЗ так мал: чтобы не задерживались особенно.

Шаров боролся с подступающей дурнотой. Если люди дышат этой дрянью все время, то

АЭЛИТА
— сможет дышать и он. Столько, сколько нужно.

Ничего, князюшка, мы в Департаменте людешки привычные, претерпим и это.

Из полумрака показался карлик.

— Дежурный по поселению докладывает: выход на добычу русина плановый, больных нет, происшествий нет.

— Это ты, что ли, дежурный? — Шаров смахнул слезу. Больно едкий этот дух.

— Так точно. Дежурный по сводному отряду Пальчиков, номер три тысячи двадцать шесть, прощенный сын предателей. Счастлив служить Отчизне!

Обвыкнув с полумраком, Шаров разглядел, что карлик — всего лишь ребенок. Мальчик, судя по фамилии.

— Ну, веди, прощенный.

— В оранжерее?

— Можно и в оранжерее. — Зачем он, собственно, здесь? Ясно ведь, что никаких новых фактов не добудешь. Умерли все. Представить себе место происшествия, проникнуться атмосферой события? Горазд ты, капитан, на психологические выверты. Лучше бы на охоту с принцессой Марса пошел.

В оранжерее на освещении не экономили: световоды просто закачивали солнечные лучи с поверхности сюда, в пещеру. Сталактиты и сталагмиты, совсем как под землей. С маленькой буквы земля или с большой?

— Поселение создали на месте карстовых пустот, — Зарядину надоело быть сторонним наблюдателем. — Благодаря этому здесь и решились провести работы по «Легким», объем позволяет.

Кислорода в оранжерее было достаточно, но запах стоял совсем уж нестерпимый. Все, убедился, капитан? А на что ты надеялся: навозца с Земли подбросят, суперфосфата, туков? Уходи отсюда. У-хо-ди.

— Покажи-ка мне, где вы тут живете, — жалкая попытка бежать с достоинством. Жалка сама идея о каком-то достоинстве здесь.

— Живем мы хорошо, спасибо Отчизне. — Карлик (было легче, представляя, что это — карлик) вывел их назад, в щадящий полумрак. — Это — спальня зал.

Нары в три уровня. Ничего, детишкам просторно.

— А тут кто спит, передовики, ударники? — Лукин высмотрел угол, где было поприметнее.

— Да. Большаки наши. Ну, и гарем ихний. Большаки у нас хорошие, зря не обижают.

— Когда вернутся-то все?

Карлик недоуменно посмотрел на Шарова.

— По гудку, конечно. Как гудок будет вечерний, так и вернутся.

— Поселение занято на руднике Былинный, — пояснил Зарядин. — Как раз по ним работа. И добыча у них не хуже, чем у взрослых. Они юркие, в любое место доберутся.

Все, капитан, увидел, что хотел, — и до сви-

дания.

— Будете осматривать техническую зону? Там насосы, резервные запасы воздуха. Или пищеблок? — воздух в коробочке Зарядина торопил.

— Пожалуй, достаточно. Пора возвращаться.

Подключившись к батарее экипажа, Шаров дышал жадно и долго. Прачечная для легких. Для души. Вам подкрахмалить? Погладить? Заштопать? Можно в кредит, постоянным клиентом скидка.

— Назад, в город? Или хотите рудник посмотреть? Можно просто с местностью ознакомиться, — Зарядин давал возможность прийти в себя. Спасибо, санитарный ответственный, мы уж как-нибудь сами.

— В город. В Алозорьевск.

Запыхтел двигатель, раскрылись воротца.

Обратный путь экипажу давался с трудом, он то почти останавливался, взбираясь на крохотную высотку, то дергался в отчаянном рывке при спуске. Может, кажется? Проекция собственных эмоций на окружающую реальность?

Наконец вожатый совсем остановил экипаж и проговорил что-то в переговорную трубу.

— Неполадки, — коротко перевел Зарядин. — Сейчас попытаемся устранить.

— Знаем мы эти неполадки, — Лукин по-прежнему не доверял Зарядину, вожатому, Марсу. Верная линия, если хочешь жить, расти, развиваться. Не доверял — и как накаркал. Пыхнуло что-то, зашипело, и крик водителя, пронзительный в этом разреженном воздухе, пробился сквозь стенки кабины.

Зарядин отреагировал мгновенно: ловко отключившись от бортовой батареи, он выскочил наружу и, пока Лукин и Шаров пытались разобраться в своих трубочках-воздуховодах, быстро затащил вожатого в салон.

— Паром обварило. — Санитарный ответственный действовал скоро и споро: обмазал лицо вожатого какой-то вонючей пеной, уколол шприц-тюбиком прямо сквозь грубую материю наружного костюма, переключил на батарею экипажа. — Ничего, ничего, бывает. Ты уж потерпи.

— Там утечка... Утечка в паровой системе, — пробормотал водитель.

— Исправить сможешь? — Лукин теперь имел веские основания тревожиться. Прав он оказался, прав. Утечки сами собой не случаются. Саботаж или преступная халатность.

— По... Попробую, — вожатый попытался привстать.

— Лежи, — остановил того Зарядин.

— Это что такое? — Лукину не терпелось найти виноватого.

— Он здорово обварился, какой из него работник? К тому же рядом с нами служебное поселение рудника. Быстрее добраться до них и попросить подмоги.

Шипение продолжалось, пар фонтаном устремлялся вверх. Кит, захворавший кит.

— Камрад капитан, что-то мне все это не по нутру.

Шаров нехотя покинул позицию стороннего наблюдателя.

— Как далеко от нас ваше поселение?

— Минутах в тридцати ходьбы.

— И там точно кто-нибудь есть?

— Непременно. Круглосуточное дежурство патруля. На случай попытки побега.

Надо будет запомнить. Побег? Куда? И кто бегаёт?

— Тогда стоит сходить. Вы нас поведете.

— Но... — Зарядин впервые выказал неуверенность. — Носимые батареи... Она у меня практически иссякла.

— Наверное, у меня тоже, — Лукин поступал по коробочке на поясе, словно проверяя полноту на слух.

— У меня запас не тронут. Но я не знаю дороги. Придется вам, санитарный ответственный, воспользоваться моим НЗ.

— Я это и хотел предложить, — с облегчением произнес Зарядин. — Я быстро, тридцать минут туда, минут семь-восемь на сборы и еще десять — назад. А экипаж отбуксируют позже.

— Нет, так дело не пойдет. Разве можно отпускать его одного? Я с ним пойду. Присмотрю, надежнее будет, — Лукин с вызовом смотрел на Шарова. Попробуй, прикажи остаться. Тут речь о жизни идет.

— А воздух? — Зарядин был явно не в восторге от перспективы иметь попутчиком подпоручика.

— У вожатого возьму.

Шаров не стал возражать. Пусть идет. Без него просторнее жить, просторнее и помереть будет, если что. Торопливо, опасаясь, что начальник сообразит, что и сам может пойти с Зарядиным, Лукин управился с дыхательными трубочками.

— Я мигом, Иван Иванович. Не сомневайтесь.

Сам, вероятно, сомневался.

Шаров не стал смотреть вслед. Вернутся — значит вернутся, нет — так тому и быть. Лишайники Орсеновой получают дополнительно семьдесят килограммов превосходной органики. Плюс вожатый.

А вожатый, похоже, спал. Инъекция успокоила его, сняла боль, лишила забот. Шаров позавидовал. Ничего, скоро и он узнает, какие сны приснятся в этом сне.

На удивление было тепло. Паровой фонтан начал никнуть, оседать, иней облепил снаружи экипаж, застывая обзор. И не дышать окошечка.

Он закрыл глаза, пробуя задремать. Шипение пара — вьюга, где-то вдалеке лошади, сани, колокольцы, смех и веселье. А у него ангина, горло, велено оставаться дома и пить

противную микстуру. Лакрица.

Шум стал явственнее, пришлось открывать глаза. На Зарядина не похоже — прошло всего двадцать минут.

Дверца экипажа распахнулась, кто-то незнакомый заглянул и, не сказав ни слова, исчез. Может, видение?

Видение оказалось настойчивым. На этот раз оно приняло облик Александра Алексеевича Ушакова, первого вожака марсианских территорий.

— Как же это? — Ушаков был непритворно озабочен. — Авария? И где остальные?

Шаров рассказал, что случилось. Получилось длинно и занудно.

— Мы поохотиться решили. Надя заметила паровой фонтан, стало ясно, что с кем-то авария произошла. Не ожидал, что с вами. Эй, принесите свежую батарею, поживее. Две батареи.

Снаружи был пятачок зимы. Небольшой, саженой в пятнадцать. Бело, под ногами скрипит, лыж не хватает.

Кавалькада оказалась на открытых паровиках. Вожатого пристроили поудобнее, и один из охотничков рванул в Алозорьевск, в лазарет.

— Нужно отыскать Лукина и Зарядина. — Шаров насчитал шесть человек. Вот так охотятся на Марсе — техника и старые мосинские винтовки.

— Почему нет? Даже интересно, давно не ходили по следу. Только как самочувствие ваше, позволяет? — участливо поинтересовался Ушаков.

— Самочувствие отличное, лучше не бывает.

Бывает, бывает — у покойников.

— Тогда — в седло.

Случайно или нет, но ближе всех оказался парокат Надежды. Ничего не оставалось, как устраиваться на заднее сидение. Впрочем, какая ерунда. Полная, совершенная ерунда.

На скорости ветер забирает, стало зябко. Удивительно, что волнуют такие пустяки. Одни пустяки и волнуют. Глобальные проблемы — нет.

Навстречу выкатилась платформа.

— Вот и ваши, — Надя затормозила столь резко, что Шаров поневоле прижался к ней. — Живы и здоровы.

Что ж, предчувствие обмануло. Действительно, что могло с ними случиться?

Зарядин соскочил с платформы и подбежал к Шарову.

— У вас все нормально? Мы спешили...

— Значит, волнения были взаимными. А где подпоручик?

— Остался. На всякий случай, говорит. Помоему, у него боязнь пространства, — говорил Зарядин весело, но лицо серое, и дышит часто. Волновался. Или с Лукиным повздорил.



Лукин припугнуть может. Хотя санитарный ответственный, похоже, не из пугливых.

— Как же это вы экипаж не проверили? — Ушаков укоризненно покачал головой. — Ведь любой могли выбрать, если хоть малейшее подозрение на неисправность было.

— Виноват, — коротко ответил Зарядин. Молодец, не оправдывается.

— Отбуксировать в город и провести тщательнейший осмотр. В присутствии Демкина, — и Шарову: — Демкин — наш спец по транспорту. На саботаж у него нюх. Отправить Зарядина под арест?

— Он мне понадобится, — возразил Шаров.

— Разве так. Тогда — ладно, свободен.

Зарядин вопросительно посмотрел на Шарова:

— Мне — с вами?

— Возвращайтесь за Лукиным, передайте: присутствовать на осмотре экипажа. И сами побудьте с ним.

— Хорошо, — но чувствовалось, что хорошего Зарядин не предвидел. Ничего, пусть друг за дружкой посмотрят. И при деле, и ему свободнее.

— Я сорвал вашу охоту, — Шаров повернулся к Ушакову. — Мне очень жаль, но...

— Это мне следует извиниться. Я должен был дать вам свой личный экипаж. Надеюсь, ваши планы не слишком нарушены?

Планы. Это он о сроках.

— Самую малость.

— Что вам необходимо сейчас?

— Поскорее добраться до города. Кто-нибудь довезет меня?

— Ну, разумеется. Надежда, тебе...

Взрыв, громкий даже здесь, не дал договорить. Все повернулись в сторону, откуда только что приехали. У горизонта медленно, неспешно поднимался грибок: белый пар, бурый песок, черный дым. Все, теперь экспертизы не будет. Вернее, будет, но другая.

Обратный путь занял совсем немного времени, он и не знал, что парокаты способны так быстро ехать. Надежда опять вырвалась вперед, и у воронки на месте бывшего экипажа они были первыми.

— Подумать только, опоздай мы на каких-нибудь пятнадцать минут, и... — она замолчала, представляя, что было бы. Ничего хорошего. Шаров прикинул. Как раз к ним подходила бы платформа с Зарядиным. Рассчитано точно.

— Пожалуй, я соглашусь, что охота — замечательная штука, и жизнью своей человечество обязано именно охоте. Во всяком случае, капитан Шаров — точно.

— Вы способны шутить...

— Какие уж тут шутки, Надя. Убытки, а не шутки. Экипаж пропал. Скверно. — Скверной была попытка скрыть растерянность и страх.

— Вы по-прежнему считаете, что не следу-

ет арестовывать Зарядина? — трезвый голос Ушакова возвращал к действительности. Подумалось, что теперь-то первый жокал рад, что не предоставил свой личный экипаж.

— Нет, не считаю. Но допрашивать его буду только я. Я, и никто другой.

— Разумеется, разумеется. Уберите его.

Свитские сноровисто заломили руки санитарному ответственному.

— До моего вопроса он не должен подвергаться никакому воздействию. — Шаров избегал смотреть на Зарядина. А надобно бы привыкнуть. Не впервой. Далеко не впервой.

— Не тревожьтесь. Сохранность — как в Имперском банке.

Обнадеживающе. Теперь на шаровском счету тридцать четыре червонца и санитарный ответственный. Гарантируется возврат в момент обращения. Процветание и неколебимость из поколения в поколение. Только для расово безупречных лиц.

Обездвиженного Зарядина перекинули через седло. Терпи, не то терпел, на Марс за так не попадают.

— Необходимо просеять все вокруг, подобрать каждый обломок, каждый винтик — Привычка есть натура первая. Сейчас Шаров и не чувствовал себя, но именно такой, нечувствительный, он был лучшим работником Департамента. Осушишь, бывало, руку, ударив нерасчетливо шашкой по чучелке — уже потом расскажут, на что темляк нужен, и ходишь с немой рукой полдня. Сейчас он весь — немой. Деревянный. И потому — особенно деятельный. Непобедимый Ванька-встанька. Без химер совести, порядочности, чести. Кадр, решивший все, раз и навсегда. — Выделите необходимое количество людей, чтобы управиться до захода солнца.

— Что-нибудь еще? — Ушаков почувствовал перемену. Улыбки кончились.

— Мне нужно в город, срочно.

— Я вас отвезу, — Надежда вновь оседлала парокат. Дева, отданная дракону во спасение града.

Путь назад не был путем любви. Дракона интересовали только драконы.

ГЛАВА 6

Вестовой, заменивший Зарядина, был бодр и свеж. Совершенно не запуган судьбой предшественника. Сдается святое место, цены приземлемы.

Шаров позволил себе два часа бездеятельно провалиться в своем N 2-а. Для тела полезно, и вообще. Надо дать время противной стороне. Авось, что-нибудь сделает, а сделав — ошибется. Просто так, за красивые глаза адские машинки не подбрасывают. Дорого, хлопотно, одного шуму сколько. Следовательно, считают, что он, Шаров, чем-то опасен. Приятно сознавать. Понять бы только — чем?



Отведенные часы истекли. Пора грянуть громкое, грозное ура.

Вестовой ждал снаружи, у двери.

— Вот что, милейший... Как там тебя?

— Служащий третьего класса Волосков!

— Ты, Волосков, потише. Не в лесу. Так вот, сходи, приведи ко мне подпоручика моего, Лукина. Понял?

— Привести подпоручика Лукина!

— Молодец. Ступай.

Он нарочно заставил Лукина ждать: неторопливо брился, чистился, охорашивался перед зеркалом, даже начал насвистывать «Гром победы, раздавайся». Демонстрация полной уверенности и довольства.

— Ну, подпоручик, веди в зону перемещения. Проверим твои догадки.

— Слушаюсь, господин капитан! — Тыканье воспринято было Лукиным почти с восторгом. Все, зачислен в свои. Теперь стеречься будет меньше.

Без Зарядина дороги стали путанней и длинней, но все же они добрались до искомой зоны. Застава тщательно проверила документы, затем, прежде чем пропустить в зону, справлялись у кого-то, крича в переговорную трубу. Строже стало. Бдительнее. До вожака перемещения их останавливали еще дважды.

Наконец они попали в кабинет Салова.

— У вас эшелонированная оборона, покруче Каменного Пояса.

— Иначе нельзя, — серьезно ответил вожак перемещения. — Мы — единственная связь с Землей. Порвись эта связь — и Алозорьевск не протянет месяца. Причем месяц этот будет незабываемым. Воздух, вода, еда — все оттуда, с матушки.

— Не буду ходить кругами. Я считаю, что сообщение о происшествии на Свотре было передано через Главные ворота.

— Естественно. Как же еще?

— Вы признаете этот факт?

— Считаю, что по-другому просто не могло быть.

— Значит ответственность за факт передачи информации лежит на вас?

— Э, нет. Это другое дело. Мы ежедневно перемещаем около трехсот пудов массы на Землю и получаем столько же. В нашу обязанность входит проверка отправляемых материалов на взрывчатые и иные вещества, могущие повредить камеру перемещения. Больше ничего. Если на каком-либо этапе в груз подкинули листок бумаги, например, заложили в породу, мы отыскать его не сможем физически.

— Я должен отправить рапорт, и хочу посмотреть всю процедуру: как, кто, где, вы понимаете?

— Я получил предписание оказывать вам полное содействие, и сам проведу вас по зоне. Больших трудов это не стоило.

— Ваш пакет поступает в почтовую экспедицию. Собачка его понюхает на предмет взрывчатки, после чего мы кладем его в почтовый ящик. Ну, а девяносто девять процентов перемещаемой массы — это русиновая порода. Сейчас ее как раз загружают в камеру.

Загрузка не впечатляла. Резиновая лента транспортера вываливала рыжий щебень прямо на пол.

— Это и есть знаменитый русин?

— В породе его не больше одного процента. Извлечение проводят на матушке.

— А почему не здесь?

— Сложнее. И потом, надо же нам что-то перемещать в ответ на земные поставки.

Шаров снял с транспортера камешек. Ну чистая щебенка. Где он, могучий элемент, превращающий обычную сталь в сталь красную, непробиваемую?

— Значит, триста пудов?

— Сто пятьдесят утром, сто пятьдесят вечером.

Два доbermanа по обе стороны транспортера скалились друг на друга. Скучно собачкам. Он вернул камешек на ленту. Никакой реакции.

— Вечерняя партия — человеческий материал, а утром Земля перемещает грузы. Бывают и внеочередные перемещения, вне расписания, как в вашем случае, но они оговариваются заранее.

Лента остановилась.

— Все, загрузка произведена. Сейчас транспортер уберут, и состоится сеанс перемещения. Пройдемте на мостик.

Идти пришлось мимо псов. Салову, как хозяину, они повиляли всем туловищем, Шарова не заметили, а вот на Лукина залаяли неистово.

— С детства собак не терплю, — подпоручик постарался обойти их в узком проходе. — И они меня. Дважды кусали, на ногу до сих пор шрам ношу.

Мостиком оказалось небольшое, выгороженное в зале управления помещенье. Пластиковые прозрачные стенки отгораживали от ушей, но не глаз. Смотрели на них отовсюду, но мельком, искоса. Зырк — и нету взгляда. Не пойман — не съеден.

— Отсюда подтверждается команда на перемещение. Второй ключ — в зале. И аналогичная ситуация — на земной станции, в Пулково. Так что несанкционированное перемещение требует сговора по меньшей мере четырех человек.

Четырех, четверых...

— У нас очень точные хронометры. Реле допускает разницей в три секунды, но обычно укладываемся ровненько.

Тонкая стрелочка подбиралась к полудню.

— Внимание!



Управляющий перемещением повернул ключ. Через секунду мягко дунуло в уши.

— Масса одинаковая, а объем разный. Перепад давления.

— Шестьдесят четыре человека, — прохрюкала переговорная трубка.

— Детский поток. Третий за неделю. Молоденькие, они лучше приспосабливаются к Марсу. Быстрее.

Шаров огляделся. Не видать шпионов, не слышать. А они — рядом. Близенько.

— А можно ли отсюда переместить что-нибудь, например, в Лондон?

— Наша матрица соответствует Пулковской.

— Ну, а заменить матрицу? Тайком, например, заменить — и наладить обмен с другим местом.

— Теоретически это, конечно, возможно. Но матрица охраняется круглосуточно, и никто, включая первого жоака, не имеет к ней доступа.

— Так уж и никто?

— Замена матрицы возможна только комиссией с Земли, комиссией высшего ранга. Не знаю, за пять лет таких комиссий не было. Матрица, в принципе, должна служить веками.

— Ну, а если все-таки заменили?

— А юстировка? Минимум неделя уйдет на юстировку, и все это время камера будет простаивать. Неужели это можно не заметить?

— Сдаюсь, сдаюсь. Теперь — другое. У вас ведется документация перемещений?

— Обязательно. Хотите проверить, не было ли перебоев? На мой взгляд, труд излишний, но если вы настаиваете...

— Это мой способ отрабатывать хлеб.

— Тогда пройдемте в канцелярию.

Канцелярия пахла, как все канцелярии мира — пылью, чернилами, старой бумагой. Только разве поменьше размером. Совсем небольшая, если быть точным.

— Я вот... реестрик... — и человек был обычной канцелярской кошкой — драный, взъерошенный, лишайный.

Реестрик представлял собой лист бумаги, расчерченный на графы, наполовину уже заполненный.

— Покажите документы, которые потребуются капитану. Все документы, без исключения.

— Будет исполнено, — подобострастно ответила кошка.

Два часа Шаров листал пухлые тома отчетов: недельных, месячных, квартальных, потом переключился исключительно на годовые. Синие обложки — с Земли, красные — на Землю. С Земли шло все: воздух, вода, еда, материалы, оборудование, и люди, люди и люди... На Землю шла в основном руда — сотни и сотни пудов складывались в миллионы. Людей ушло на Землю четыреста тридцать три человека. За все пять лет. Последний раз отправка че-

ловека на матушку состоялась за неделю до аварии на Свотре.

Ясно, головушка? Два и два складывать не разучилась?

Графы «шпионские сообщения» в реестриках не оказалось.

Лукин тоже изучал документацию — читал, шевеля губами, записи дежурных по перемещению. Тех, кто стоял на ключах. Каждое новое имя он заносил в маленькую книжечку — для себя, а на большой лист бумаги — для Шарова.

Отработка документации иногда приносила решение самых сложных вопросов. Но не на этот раз.

— Довольно, — Шаров закрыл последний годовой отчет. Вернее, первый — он читал их в обратном порядке. — Пора поговорить с нашим санитарным ответственным.

— Уж он теперь ответит, — недобро скаламурил Лукин.

Они распрощались с Саловым. Ориентироваться в переходах становилось все легче.

Отделение Департамента, ставший привычным кабинет — все это располагало к хорошему, до мозга костей, допросу. Часа на четыре. Или больше, до утра.

— Доставьте нам Зарядина, — распорядился Шаров. Может, удастся управиться быстро? Раз-два — и чистосердечное признание? В знак уважения санитарного ответственного к его, Шарова, заслугам перед Отечеством?

— Добрый вечер, Иван Иванович! — вместо Зарядина явился Спицин, марсианский жоак номер три. Давно не виделись, коллега.

— Добрый... да, действительно, вечер. Хотите поприсутствовать на допросе?

— Хотел бы. Искренне хотел бы.

— Почему «бы»?

— Мне очень неловко сообщать, но подозреваемый Зарядин скончался полчаса назад.

— От каких же причин, позвольте полюбопытствовать? — Шаров понял, что не удивился. Ждал, значит. Сидел и ждал, лежал и ждал, ходил и ждал.

— Отек легких. — Спицин не выглядел смущенным, напротив, казалось, он доволен. — Дыхательная недостаточность.

— Вот так, вдруг, ни с того ни с сего — дыхательная недостаточность?

— И с того, и с сего. Мы проверили. В его кислородной батарее оказался фосген. Газ, вызывающий смерть из-за отека легких. Следовательно, это он, Зарядин — причина взрыва экипажа.

— Разве?

— Иначе зачем кому-то потребовалось его устранять? Зарядин сделал свое дело, потому и был обречен — чтобы не выдать сообщников. Типичный прием, шаблон. Осталось проверить контакты Зарядина — как следует, с пристрастием, и мы все равно выйдем на его



сообщников.

— Вы говорите, газ был в батарее Зарядина? В какой?

— Что значит — в какой? В той, что была при нем, — Спицин удивился непонятливости капитана. Не знают они там, на матушке, спецификации Марса.

— Любопытно, действительно любопытно.

— Вас что-то смущает, капитан?

— Так, одна малость. Дело в том, что эта воздушная батарея — моя.

ГЛАВА 7

— Ваша?

— Я сам отдал ее санитарному ответственному.

— Выходит...

— Выходит, это у меня должен был случиться отек легких. Вот так.

Спицин вздохнул.

— Жаль, очень жаль. То есть, я рад, что вам повезло. Жаль, что вы распорядились не трогать Зарядина без вас. Допросить бы его свое временно, и многое бы прояснилось. Выходит, у нас опять нет подозреваемых?

— Чего-чего, а подозреваемых хватает. Мой соратник даже списочек подготовил. Без Зарядина там трое остались. Вполне достаточно.

— Попробую угадать. Я, Ушаков и, наверное, Салов. Верно?

— А вы у него спросите. Подпоручик, отвечайте.

— Это всего лишь рабочая гипотеза, — Лукин ожег взглядом капитана.

— Я не в претензии, — развел руками Спицин.

— Списочек подготовил он, — кивнул на подпоручика Шаров, — а батарея отравленная досталась мне.

— Зарядину она досталась, — утешил его начальник марсианского отделения Департамента.

— То — случайность.

Моего везения надолго не хватит. Раз везение — с батареей, два — охотнички подоспели. Помилуйте, надобно же и умение показать. Умение капитана Шарова. Выставлено для всеобщего обозрения в павильоне народных ремесел, детям и нижним чинам вход возбранен.

— Получается, дело у вас затягивается. — Теперь дело опять «у вас». Дистанцируется третий вожак.

— Отнюдь, камрад Спицин, отнюдь. Думаю, мы стали гораздо ближе к истине, нежели вчера.

— Рад это слышать, — но видно было, что Спицин сомневается.

Блеф — штука тонкая. Так иногда заврешься, что и сам начинаешь верить в сказанное собой. Противник-то поверил: раз — и взрыв, и фосген.

— Завтра, самое позднее послезавтра, я

надеюсь, мы окончательно расставим точки над *i*.

— Превосходно, просто превосходно. Я могу передать это Ушакову?

— Я уже говорил с ним на эту тему. Вчера.

Говорил-говорил. После чего и открылась охота. Типичная ошибка службистов: «после того — значит вследствие того».

— Что ж, подождем до завтра, — Спицин не стал обижаться на скрытность капитана. Земля, она и есть Земля. Марку держит. К тому же — правила Департамента. Чего не знаешь — за то не в ответе.

— Или до послезавтра. Но сейчас я хотел бы осмотреть тело Зарядина.

— Извольте. Я проведу вас в медчасть.

— Умер, да... — в медчасти их встретили почтительно, но с чистой совестью. — Делали, что могли, но слишком велика оказалась доза. Триста литров чистого кислорода затрагивали, и — впусую. Отек протекал злокачественно. Вы хотите пройти в секционную? Только возьмите воздушную батарею. Все-таки — фосген.

Зарядин действительно был очень мертвый. Случалось — укрывали под видом смерти людей, выводили из-под следствия. Случалось, но в этот раз не случилось.

— Не в этот раз отправьте на Землю.

— Раньше утра не получится, — Спицин не поморщился. Знает порядок.

— Вот с утренним сеансом перемещения пусть и отправится.

— Да, повезло, — непонятно чему порадовался врач.

— Доктор, — отвел его в сторонку Шаров, — вы мне дайте чего-нибудь от сна, посылнее... Мне сегодня спать нельзя... Первитина, что ли...

— Могу предложить кое-что получше. Вот, по капсуле каждые шесть часов. Не более четырех кряду. Максимум — шесть. А потом — сутки отсыпаться.

— Отосплюсь. Непременно отосплюсь. Спасибо.

Капсулы в прозрачном пузырьке лежали смирно, придавленные пружинкой пробки. Точно патроны в обойме. Лежат-лежат, а потом — бабах! Собирай мозги по стенке. Какие мозги, там ведь кость! Молодец, капитан. Юморист. Душа компании. Тосты, анекдоты, шутки. Рекомендуются для гг. офицеров. Цена с пересылкой — целковый, участникам Босфорской войны — скидка.

— Пожалуй... Пожалуй, на сегодня довольно. Пойду составлять рапорт, к утреннему сеансу поспеть надо. Во сколько утренний сеанс-то?

— В восемь пятнадцать, — подсказал Лукин.

— Девять часов. Три — на рапорт, что останется — на сон.



Третий вожак сочувственно кивнул:
— Писанины хватает. И никаких писарей не позовешь — секретно. Сколько я в свое время бумаги перевел. А гусей!

— Вечные ручки спасли Рим, — продолжил вечер шуток Шаров. Демонстрация уверенности в завтрашнем дне.

— Мой шеф был записным патриотом и всякие западные штучки отрицал. Гусиное перо — и точка, — начал делиться воспоминаниями Спицин. — Аспирина не признавал. Рюмка водки, щепоть пороха и баня, парная. Там и умер от удара. Не успели кровь пустить. Любимое его средство.

— Средство знатное, — подтвердил Шаров. Так и до крамолы договориться можно. Нет, откровенность — дурная болезнь. Собачья, как говаривал тот самый шеф. Выходит, Спицин — из старой гвардии. Хоть на Марсе, но живой. Реликт. После заговора генералов кровопускание устроили изрядное. Очистка от вредителей, пособников и шлаков.

— Я все говорю, говорю, а вам время дорого. Позвольте проводить вас, — Спицин поражал своей любезностью. Издевается, что ли? Или просто — профилактика? Личный надзор? Ничего, нам, людям честным, скрывать нечего. Голы, аки соколы. Неимущие.

— Не стоит затрудняться, — отклонил любезность Шаров, — нам еще придется обсудить кое-какие мелочи. Рутинка, знаете ли. Повседневность.

— Самое главное в нашей работе. Тогда — до завтра, капитан.

Озадочив Лукина — проверить документацию транспортного отдела: не выезжали ли экипажи из поселений более, чем на день, и подготовить поименный список лиц, отбывших на Землю за два последних года, к завтрашнему утру, и спи, отдыхай, — Шаров в одиночестве брел переходами Алозорьевска. Теперь неплюбо бы и подумать. Никто не мешает, не отвлекает. Шум в голове разве. Чего, мол, думать, работать нужно. Действительно, что ли, рапорт написать, пока живой? Образцовый такой рапорт, с полным разоблачением на последней странице. Знать бы, что там, на той странице.

Никто в переходах за ним не следил, никто не нападал. Алозорьевск — город образцовый. Город будущего. Нет праздности, нет и преступности. Люди гордятся плодами своего труда. Энтузиазм размеров неслыханных. Даже под ноги не плюют. Все, как один.

У входа в свой N 2-а он еще раз оглянулся. Для публики. Пусть их, заслужили.

Сюрприз ждал в самом номере.

— Надя? Что-то случилось? — ничего более на ум не пришло. Ах, некстати, как некстати. Будь это на отдыхе, на Земле... Полно, капитан, кому ты нужен на отдыхе, вне власти.

— Возьмите... Возьмите меня на Землю... — Принцесса Марса курила редкие американ-

ские сигареты. Умело курила, по-настоящему.
— Я не вполне вас понимаю...

— На Землю. Я... я очень прошу вас и готова... — она покраснела. От решимости, стыда, гнева, все вместе?

— Готовы?.. — доброжелательно подсказал он.

— Я понимаю, глупо... Вам, наверное, часто предлагают себя... Но у меня просто ничего нет больше.

Вот вам и ножичек в спину. Надежда Ушакова. Остается выяснить, она — отвлекающий момент или сам инструмент? Скорее, второе. Классика Департамента.

— Если я не попаду на Землю сейчас, то не попаду никогда. Отец трижды просил, чтобы мне разрешили. И сегодня получил третий отказ.

Шаров сел в другое креслице, рядом, отмахнулся от дыма. Вот возьмет — и удивит. Впадает в откровенность и рассказывает свои секреты не после, как они рассчитывают, а до. Или, того горше, вместо. О чем рассказывать только? О подозрениях? О раскрытых тайнах? Нет у него раскрытых тайн. Или они неинтересны. Например, тайна номер семь... или восемь? За пять лет освоения Марса перемещено было сюда шестьдесят семь тысяч человек. Обратно — четыреста тридцать три человека. Судя по объемам поставок воздуха и продуктов, сейчас во всех поселениях находилось не более шести, максимум семи тысяч человек. Сложите и вычитайте. Такая вот арифметика. Кого это волнует?

— Надя, я бы и рад помочь вам, но не так это просто. Сюда, на Марс, мне что человека отправить, что сто — пустяк. А вот обратно... Обратно — куда сложнее.

— Вы можете, я знаю! — Кого она пыталась убедить — себя или его?

— Может быть, я подчеркиваю — может быть, мне и удастся что-нибудь для вас сделать, но только в случае успешного завершения... э-э... моей миссии.

— Но ведь вы сказали, что завтра...

— Ну так то завтра. А вы пришли сегодня.

— Я слышала, мой *rara* в вашем списке. Если нужно, я бы могла...

Вот и дождалась. Дочь дает показания, уличая отца в деятельности, направленной на подрыв Империи. Который раз одно и то же. Противно.

— Нет у меня никакого списка, Надя. Но если вы хотите мне помочь...

— Конечно, хочу.

— Тогда... Вы здорово управляетесь с парокотом. А экипаж сможете вести?

— Смогу, разумеется.

— Тогда покатайте меня.

— Сейчас?

— Именно сейчас. Дело того требует.

Она удержалась от вопросов — куда, зачем,



почему. Умная девочка.

Обслуга парка тоже вопросов не задавала. Наружные костюмы принесла сама Надежда, экипаж подогнала она же.

— Отцовский. Он всегда заправлен, наготове.

Коробочка на поясе дразнила: любит, не любит, фосген, не фосген. Для некоторых снаряды в порядке исключения попадают в одно место и дважды, и трижды. Для хорошего человека ничего не жалко.

Он устроился внутри, Надя заняла место водителя.

Ворота шлюза раскрылись.

— Мы сможем двигаться в такой темноте?

— Не быстро. Я сейчас зажгу фонари.

Зашипел газ, и ацетиленовый свет отовоевал у тьмы маленький кусочек Марса. Сейчас мошка налетит.

— Поехали в сторону Свотры, — заказал он единственный маршрут, который знал.

Ехать было приятно. Кресло удобное, просторное и мягкое. И обзор прекрасный. Он читал, что у Марса две луны, но не нашел ни одной. Ладно, не в лунах счастье.

— Версту мы проехали?

— Полторы, — сейчас Надя чувствовала себя поувереннее. Дело делала.

— Тогда хватит. Развернитесь назад, к городу, и погасите фонарь.

Она опять выдержала характер, не спросила — зачем. Шаров не стал ее томить.

— Знаете, Надя, я буду спать. Устал что-то.

— Вы боитесь оставаться в городе?

— Боюсь немножко. Даже больше, чем немножко.

— Здесь вам бояться нечего. У меня винтовка. Я в шакала за версту попадаю.

— Они что, могут напасть?

— Шакалы? Нет, что вы. Я и не в шакала могу попасть тоже.

Шаров не стал уточнять характер мишеней Нади. Меткая, и довольно.

Город был темен. Скучный свет луны (показалась все-таки какая-то крошка-торопыга) едва обозначал громаду у горизонта. Без окон. И дверей мало.

Блестела игла грозоуловителя — загадочно, призрачно — серебряный кол на могиле вурдалака. Надежнее осинового, хоть и дороже. Одна беда — украсть могут. Что могут — украдут непременно. Всенепременнейше. Пережитки тлетворного влияния упаднических наций. Маргиналов. Ничего, очистимся, и тогда — прощайте, замки и запоры. Нравственность, черта исконно славянская, воссядет у каждого очага, и народ, взлелеянный вожаками, радостно и доверчиво пойдет навстречу великому жребию. Уже идет. Прямо-таки вприпрыжку, штаны некогда поддернуть. Гоп-гоп, братки, веселей!

Ничего не видно. Не срываются с иглы иск-

ры, не разбегаются лучи. Теориям, не подкрепленным практическими результатами, не место в нашей науке. Всякие там открытия на острие пера — вредная выдумка. Открытия должны давать плоды народу. Не дают — удобрить маленько, пусть быстрее зреют. Полить. Потрясти, наконец. На это мы мастера. Я — мастер.

Он смотрел на мрак города, надеясь вопреки своим же выкладкам увидеть сигналы. Ерунда, конечно. Существуй такие — давно бы увидели другие. Сигнал на триста верст — это вам не флажками семафорить.

Или у него зрение притупилось, или нюх врет. А почему, собственно, зрение? Уши есть. Ладно, отметем, хотя, если в ультразвуке... Нет, триста миль... Осязание? Почву простукивать. Три точки, тире, точка. Точке незаметно не сделаешь. Письмо послать, имперской почтой. Голубиной тоже неплохо. Вообще, ерунда лезет в голову. Неуверенность в собственных мыслях.

— Это что, Надя? Шакалы?

Вокруг мигали красные огоньки. Парные, они придвигались ближе и ближе.

— Зайцы, — сразу ответила Надежда. Не спит. Пусть и вправду постережет. Мало ли...

— Чего это они?

— Зайцы всегда к экипажам жмутся. Наверное, принимают за Больших Зайцев, защищающих от шакалов. Или просто тепло манит. Они любят тепло.

— На них, наверное, очень просто охотиться? Сиди да постреливай себе.

— Мы на них не охотимся. Я не охочусь, — поправила она. Существенная поправка. Значит другие охотятся. Да что далеко ходить, других искать — он, капитан Шаров, охотится преимущественно на зайцев. Во-первых, это просто, во-вторых, безопасно, а в-третьих — служба такая. Да-с.

В экипаже было действительно тепло, не удивительно, что зверьков манило погреться. Там, снаружи, мороз градусов за тридцать, не до гуляний. Опять же темнота. Спи, капитан, отдыхай. Копи силы на день завтрашний. Уже сегодняшний? Тем более копи.

— Надя, только не стреляйте, если кого-нибудь заметите. Меня разбудите прежде.

— Хорошо.

— Я ведь тоже — стрелок отменный. Когда вижу цель.

Так можно всю ночь впустую проболтать. Тары-бары на Марсе.

Он закрыл глаза, удобнее устроился в кресле. Будем считать слонов. Марсианских. Мохнатых-мохнатых, неслышно трубящих за триста верст своим собратям по хоботу. Такая у них особенность, у слонов — трубить. Даже во вред себе. Не могут они иначе. А заметить слона довольно просто. Нужно только немножко отступить назад и поднять голову.



ГЛАВА 8

Уют кресла оказался обманчив. Тело страдало и плакалось. Совсем не хочет долг исполнять. Не хочет — заставим.

Марсианский рассвет не бодрил, не вдохновлял. При чем тут рассвет? Честно надо признаться — годы. На диванчике надо лежать, или на печи, а не шастать в поисках шпионов. Ничего, лет через двадцать уйдет в отставку с полным пенсионом и медалью за выслугу лет.

Шаров посмотрел на часы. Пять часов сна, однако. Ровно на пять больше, чем он заслужил. И еще жалуетесь, капитан? Стыдно, стыдно, батенька.

— Проснулись?

А Надежда вот не поспала. Охраняла сон мужественного капитана Департамента.

— Проснулся. Давайте, Надя, назад двигать. В город. Великие дела ждут.

Она ни о чем больше не просила, не напоминала. Интересно, что думалось ей ночью? Поняла бессмысленность просьб или просто разозлилась? Да будет ей Земля, будет. Служба в Департаменте имеет много гитик. Объявить, например, ее свидетельницей на процессе. Правда, как минимум, нужен процесс. Хороший такой показательный процесс. Или, напротив, тайный: никто ничего толком не знает, никому ни о чем не известно...

Они въехали в шлюз. Надя, пряча глаза, попрощалась. Стыдится.

Он успел написать рапорт и попользоваться водичкой. Вестовой невозмутимо приветствовал Шарова и подал завтрак: яичницу с салом и большой термос сбитня. На третьей кружке подоспел и Лукин со своим списком. Большой получился список, на двадцать листов. Земля, наверное, тоже до этого додумалась и уже готовится их проверять. Сколько там за два года набралось? Сто восемьдесят человек ровно. После эффективного допроса в империи прибавится сто восемьдесят сломленных людей. Рутинная, повседневная работа.

— Вот, — протянул он подпоручику пакет с рапортом. — Отправьте. И подождите ответа.

— Ответа? С Земли?

— Откуда же еще?

— Слушаюсь. — Подпоручик, наверное, ждал другого. Задушевного разговора, посвящения в тайны ремесла или просто предложения присесть. Все, все будет — потом.

Он допил сбитень — все-таки здорово сушит Марс, почечный курорт открывать можно, — когда пожаловал Спицин.

— Слышал, вы поездку предприняли, ночью?

— Так, идея в голову пришла, пришлось проверить. Ничего особенного, но любой пустяк может оказаться важным. А что, имеются возражения?

— Помилуйте, какие возражения? Просто я

беспокоился. Случись что — мы и на помощь придти не смогли бы.

— Обошлось, как видите.

— Да, еще Александр Алексеевич просил, как выпадет у вас минутка, навестить его.

— Обязательно зайду. Немножко попозже.

— Я так и передам.

— Вы меня очень обяжете.

Приятно, что ни говори, быть представителем Земли. Какие люди захаживают. И не приказывают — просят. Интересно, что Ушакову нужно? Дела интересуют или жиниться заставит? Какая партия из тебя, капитан...

Запасы белья подходили к концу. Пора, пора, друг милый, покончить с этим делом. Пережил два покушения, не дожидайся третьего. Для здоровья вредно.

В переходах он встретил человек тридцать. Час пик. Похоже, он прилачился к ритму Алозорьевска, начинает жить в ногу со всеми.

Научный корпус он нашел легко. Скоро сам сможет работать чичероне. Посмотрите налево, милостивые государи: здесь ровно два дня назад впервые побывал капитан Шаров, исполненный рвения и отваги. Где тот капитан теперь, никому не известно. Потому что не интересно.

Наверное, сработала какая-то система оповещения: магистр Семеняко перехватил его почти у самого входа.

— Опять в наши края? Чем могу помочь?

— Опять. Директор у себя?

— Кирилл Петрович на полигоне. Испытывает аэростат.

— Далеко этот полигон?

— Версты две. Вы подождете, или необходимо подготовить парокат?

— Пешочком пройду. Ножками. Что две версты — пустяк. Вы только направление укажите.

— У нас свой выход из города. Пройдемте. Я только распоряжусь, чтобы для вас подготовили костюм.

Шлюз, декомпрессия, облачение в костюм. Положительно, он превращается в обывателя города Алозорьевска.

Трубочка привычно скользнула в ноздрю.

— Надолго хватит батареи?

— Да часов на двенадцать. Плюс часовая резервная. Выйдете наружу — и направо, там колея наезжена. Вы полигон заметите непременно, по аэростату. Или все-таки дать вам сопровождающего?

— Не стоит. Хочется немного побыть одному.

Магистр попрощался — начиналась декомпрессия. Присядем на дорожку, подумаем. Полчаса туда, с запасом, пол — обратно. Как раз успеет ответ придти с Земли.

Вот, капитан, ты и на вакациях. Дорога — словно в Айдаровке, пыльная, неширокая. Того и гляди, на коровьи лепешки наткнешся да на



конские яблоки. Или баба погонит гусей к речке, купаться. Удочки не хватает да самой речки. Зато здесь грязи не бывает, не развезит шлях. Ступай и ступай, хоть до самой станции «Берд».

Он приблизился к щиту — большому, на бетонном основании, возвышающемуся над округой на три сажени. Дитя Отдела пропаганды. Большими, аршинными буквами выведен был призыв превратить Марс в рукотворный сад, за буквами ветвились яблони с налитыми румяными яблоками. То есть можно было догадываться, что это — румяные яблоки: краски выцвели, выгорели. Солнце здесь хоть и слабое, а злое.

Он подошел поближе, желая попробовать, из чего сделан щит — дерево, пластик, железо? Ногтем провел по поверхности. Похоже, пластик.

Что-то громко треснуло, и в щите — на два вершка выше его головы — появилась аккуратная круглая дырочка. Трехлинейка, однако.

Шаров быстро побежал, огибая щит. Быстро, да не очень — еще одна дырочка, и опять выше. Наконец он укрылся за щитом, для верности присел — бетон постамента понадежнее пластика будет.

Стреляли в спину. Издалека — верста, не меньше. Он осторожно выглянул. Никого. Так и станут тебя дожидаться.

Кому-то он здорово мешает. Или просто — нелюбовь. Не любит его стрелок хороший, даже отличный, но к Марсу непривычный, иначе сделал бы поправку на низкое притяжение, и была бы у Шарова лишняя дырка.

Ничего, не поздно еще. Подойдет поближе, только и всего. А у него, у Шарова, всего оружия — фига в кармане. Беспечный и самоуверенный болван.

Подумалось, что он теперь может объяснить поведение генералов-заговорщиков. Ведь знали, что ожидает их, а никто не то что поднял верные полки — положим, не было никаких верных полков, — но и просто не бежал, не отстреливался, в конце концов. Им просто не хотелось жить. Устали. Сколько сил хватало — жили, а потом устали.

Так то генералы. Ему не по чину уставать. Лорд Байрон Мценского уезда, понимаете ли, нашелся. Фаталист на жаловании. Вверяю себя судьбе, и все такое. Больно ты нужен судьбе, милый. Дешевое кокетство молодого юнкера. Стыдно.

Он не устыдился, но разозлился. Немного, но лучше, чем ничего. Можно под прикрытием щита отбежать подальше, а потом попытаться кружным путем вернуться в город. Воздуху хватит, он нынче запасливый.

Из-за горизонта вынырнул парокат. Кавалерия. Как всегда, вовремя. Парокат подъехал прямо к щиту.

— Что-то случилось? — Парокат вез двоих.

Патруль. Ну правильно, регулярное патрулирование. Еще Зарядин говорил. Никакого рося в кустах.

— Стреляли. Со стороны города.

— Стреляли?

— В меня целили, но промахнулись.

Патрульные спешили, осмотрели щит.

— Да, похоже, стреляли. Сейчас проверим.

Один из патрульных пустил в небо ракету, зеленый огонек завис в небе.

— Подкрепление зовем, — пояснил патрульный. — Вы подождите, пока не разберемся.

Карабины у них были кавалерийские, ладные, удобные. Окоротят плохого человека, эти смогут.

Ответные огоньки зависли в воздухе.

— Ну, мы поехали. А вы ждите, экипаж скоро подойдет.

Парокат покотил к городу. Храбрые ребята, не боятся, что стрелок их снимет. Или боятся, но службу исполняют. И ты давай, служи. Шаров отряхнулся от пыли, оглянулся. Где ж полигон?

Полигон оказался почти рядом. Шаров вышел на него через четверть часа и едва не опоздал: пузырь уже надували.

— Пришли полюбопытствовать? Я тоже. — Директор стоял чуть поодаль от воздушного шара. Три человека возились около газовой установки. — С детства люблю, с ярмарки. Счастливые люди — воздухоплататели. Высоко, в тишине, над нами, суетными грешниками.

Пузырь раздулся до размеров хорошей избы, но все не мог оторваться.

— Мы наполняем его раскаленным гелием. И все равно подъемная сила мизерна. Всей аппаратуры два фунта, а поди ж ты, подними.

Стенки пузыря были полупрозрачными, и сквозь них проглядывали горы, проглядывали мутно и неясно.

Пузырь увеличивался на глазах, вдвое, втрое, вчетверо, наконец он начал медленно подниматься. Кто-то отсоединил кишку, обрубил балласт, и шар устремился вверх.

— Далеко улетит? — спросил Шаров Леонидова.

— Увы. Как только газ остынет, пойдем ловить. На версту поднимется, если повезет. Сглазил!

Шар передумал. Не поднявшись и на сто сажений, он замер, а потом мало-помалу начал опускаться.

— Оболочка старая, пропускает. Новую нужно варить. Из топора не сварить, придется у Земли просить, а Земля — барышня капризная. Ладно, капитан, так что же вас привело сюда, на полигон, помимо зрелища?

— Служба, Кирилл Петрович. Разговор у меня к вам.

— Прямо здесь разговор? А то я мерзнуть



начал. Давайте в город сначала вернемся.

Шар пошел вниз быстрее. Его отнесло не-много в сторону, и люди побежали за ним вслед. На руки хотят принять, что ли? Муравьи и арбуз.

— Давайте вернемся, — согласился Шаров. Он тоже замерз. Во всяком случае, дрожал.

— Только придется подождать, пока не сложим баллон. Гелий — газ благородный, не след терять.

— Неужели без вас не управятся, господин директор?

— Управятся, безусловно управятся. Но у нас с транспортом — не как у вас. Плохо с транспортом. Один экипаж, и на нем установлен компрессор. Придется ждать.

— А мы пешочком. Я вот прошелся, знаете — благодать. Просторы — прямо наши, российские. Мысли в голову приходят всяческие, мечты. Право, пойдёмте, Кирилл Петрович.

— С людьми вашего ведомства спорить трудно. Если вы настаиваете...

— Не то, чтобы я. Опять служба.

— Тогда, с вашего позволения, я распоряжусь...

Шаров смотрел, как Леонидов подошел к вожатому экипажа. Хорошо бы послушать, что в таких случаях говорят академики. Оставляет научное завещание? Просит не поминать лихом? Приказывает почистить экипаж по возвращении, чтоб блестел и сверкал?

Но возвращаться пешком не пришлось: подоспел броневичок Департамента.

— Иван Иванович, вы рискуете просто безрассудно! — Спицин выговаривал не шутейно, похоже, он в самом деле волновался. — Мы бы вам любую охрану дали, эскорт, а вы...

— Кого-нибудь нашли? — невежливо перебил его Шаров.

— Нет. Ищем. И подпоручик с вас пример берет — пешком. Неужели трудно приказать подать экипаж?

— Лукин здесь?

— Так точно, камрад капитан, — Лукин показался в проеме люка. — Вам депеша с Земли. Сказали, вы в научный корпус пошли. Я туда. Там узнал про полигон, подумал, что за четверть часа добегу, зачем возиться с колесами. А по пути меня нагнали.

Шаров взял конверт, сломал печать. Так, пришло время делить пироги. А пирог у него еще в печи, и удастся, нет ли — неизвестно.

— Видите, Кирилл Петрович, все и уладилось. Поедем с шиком, за броней.

Академик молча полез внутрь.

Лучше бы шли пешком. Хотя... Психическое давление, оно разным бывает.

Спицин тоже помалкивал, сказал лишь, что местность прочесывать будут, пока не найдут стрелявшего. Третий вожак явно верил в вечную жизнь.

По просьбе Шарова их высадили у шлюза

научного корпуса. И костюм наружный отдать нужно, и просто удобнее.

— Вот вы и дома, господин директор. Не пригласите к себе? Сушит очень Марс, пить хочется. Опять-таки — разговор, не забыли?

— Забудешь с вами. — Академик, похоже, успокоился. Или плюнул на все. Кончился страх ожидания страха.

Подлетел магистр Семеняко. Но остановился, словно лбом о ворота. Ну и чутье у малого!

Сэр Исаак Ньютон по-прежнему грустил, обделенный историческим оптимизмом славян. Не повезло ему, не в той стране родился.

Леонидов помешкал мгновение, затем решительно сел в свое кресло.

— Чайку нам, — прокричал в переговорную трубку. — Моего чаю, и заварите в автоклаве.

— Под давлением завариваете? Любопытно.

— Иначе какой чай? — декохт. Ну, начнем разговор или подождем? Ждать недолго, автоклав маленький, быстро поспеет.

— Начнем, Кирилл Петрович. А поспеет, так вот мы, все здесь.

— Значит, начнем... Так чем же я могу быть вам полезен?

Шаров не спешил с ответом. Действительно, чем? Небо такое большое, палец такой маленький. Что, если догадка неверна? Да ничего. Ничего особенного. Эка невидаль — ошибка. Не римский папа, позволено и согрешить.

— Вы уже помогли, Кирилл Петрович.

— Да? Не припоминаю.

— В прошлый мой визит вы заметили, что знать вопрос — все равно, что знать ответ. И я начал искать не ответ, а вопрос. Думаю, вы знаете причину, по которой я нахожусь здесь, я имею в виду — на Марсе.

— Представьте — нет.

— Ой, лукавите. Ладно. Но про аварию на Свотре хоть слышали?

— Да.

— Спустя несколько дней об этом сообщили в одной из английских газет. Как просочилась к ним информация? Узнать это поручили мне. Не только мне, многим, но на Марс послали именно меня. И я начал искать: кто? Кому удалось передать информацию в Англию? И никак не мог найти, не мог даже понять, с какого боку подступиться.

— Это бывает.

— Сплошь и рядом. Но потом вспомнил ваш совет и склонился к тому, что главное — понять, КАК кому-то удалось передать сообщение.

— Разумно.

— Рад, что вы так считаете. Итак, прежде всего приходит в голову, что некто, пока неважно — кто, передал сведения обычным путем — через канал перемещения. Увы, ему бы потребовался сообщник, если не здесь, то на Земле обязательно. А на Земле проверили



всех, имевших отношение к каналу. Проверили самым тщательным образом. Вы понимаете: САМЫМ. Мы же Департамент, а не Смольный институт. И — ничего.

Академик не ответил. Ничего, уважаемый Кирилл Петрович, это — даже не цветочки, а завязь.

— Тогда закономерно предположить, что никто смог сообщить о происшествии англичанам на станцию «Берд», а уж те по своему каналу — на Землю. Опять не получается: до английской станции триста верст. Транспорт более, чем на сутки, поселения не покидал, пешком — несерьезно, да и по времени не выходит; успехи воздухоплавания вы сегодня продемонстрировали...

— Какой же вывод? — академику чая явно не хватало. Пересохло горло, руки беспокойно трутся друг о дружку.

— Заговор. Документы подделаны, а кто-то из вожаков, или даже, может быть, все вожаки, санкционировал-таки переход на «Берд».

— Сложно все это.

— Но единственно возможно. Если бы не то обстоятельство, что никто из вожаков не имел никакой причины сообщать об аварии на Свотре англичанам. Это абсурд. Сообщил человек совестливый, непрактичный, донельзя наивный. В чем-чем, а в этих пороках упрекнуть вожаков нельзя.

— По-вашему, получается, что каким образом сообщение о катастрофе в поселении до англичан дойти не могла?

— Получается, Кирилл Петрович.

— И в то же время англичанам о катастрофе стало известно?

— Вне всякого сомнения.

— Парадокс.

— И еще какой, Кирилл Петрович.

Принесли чай: фарфоровый чайник с заваркой, медный самовар кипятку, сахарницу, щипчики и даже сливочник.

— Поспел, поспел. По запаху чую: «Липтон». Угадал?

— Что? Ах, чай... Да, «Липтон».

— Позвольте поухаживать за вами. Устали, наверное, мои разглагольствования выслушивать. Вам со сливками? — Шаров заученно скупыми движениями разлил заварку по чашкам. Два месяца половым у Палкина служил, под конец даже на чай давали. Тогда он был подпоручиком, молодым и смышленным. Но Рейли в трактире так и не появился.

Чай удался средненько. Староват. И лист пересушен. Но он похвалил:

— Отменный у вас чай, Кирилл Петрович. Берите патент на автоклав заварочный. Большие деньги получать будете, когда Марс зазелем.

Леонидов на шутку не отозвался. Он, похоже, ее и не слышал, прихлебывал себе чай, не замечая ни вкуса, ни аромата, как пьют купчи-

ки поутру с похмелья.

— Признаться, вы заинтриговали меня, капитан. Не думал, что в вашем Департаменте решают подобные головоломки.

— Департамент, Кирилл Петрович, столько же мой, сколь и ваш. А насчет головоломок — это запросто. Не приходилось видеть, как мужик локомотив чинит или веялку заграничную? Не подходит деталь, или передача капризничает, так он ее ломом, ломом. На удивление, иногда помогает.

— Где же ваш лом?

— Придет черед и лому. Но — вдруг детали подойдут? Очень, знаете, хотелось бы. Так вот, я подумал: раз никаким известным способом весть до англичан дойти не могла, а она все-таки дошла, значит дошла она способом, доселе не известным. Меня учили: если все варианты, кроме одного, невозможны, то этот единственный вариант, каким бы невероятным он не казался, и произошел в действительности.

— Неизвестный способ... Знаете, не убеждает.

— Был неизвестный, станет известным. Шило в мешке утаить можно, если постараться, но способ передачи информации — нет. Потому, что о нем знают минимум двое — передающий и принимающий. Тайна двоих — уже не тайна. А если до газет дело дошло...

— А какой способ, все-таки?

— Почти волшебный. Способ, в который никто не верит, потому и не ищет. Беспроволочный телеграф.

— Экий вы сочинитель, господин капитан! Таланты в землю зарываете.

— Бывает, и зарываем. По вынесении приговора.

— Пугаете.

— Предупреждаю. Впрочем, таланты сейчас в цене, и всякие мелкие шалости им порой прощаются. По недомыслию которые.

— Приятно слышать. Но только я-то здесь при чем?

— Так ведь вы, глубокоуважаемый Кирилл Петрович, беспроволочный телеграф и открыли. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.

— Надеяться, конечно, я вам запретить не могу...

— Только у вас имеется, пусть и относительная, свобода проведения научных разработок. Все остальные работают по планам сверху, и у них просто нет возможности хоть что-нибудь сделать вне плана. А у вас есть.

— А воду в вино я не превращаю? Мертвых не воскрешаю?

— Не надо, Кирилл Петрович. Сейчас сюда прибудет парочка экспертов с Земли, и, думаю, они найдут в вашей лаборатории нечто любопытное.

— Вы смеете...

— Еще как смею.





— А если не найдут? Искать заведомо несуществующую вещь... И не подбросишь. Да любой ученый просто высмеет саму идею. Беспроволочный телеграф, надо же... — академик рассмеялся. Слабо и неубедительно.

— Я ведь не маститых старцев в эксперты взял, Кирилл Петрович. Выпускников Петроградского политехнического, alma mater. Ребята молодые, глаза не зашорены. Найдут.

— Когда найдут, тогда и поговорим.

— Тогда поздно будет, Кирилл Петрович. Люди ведь гибнут.

— Не понял, о чем вы?

— Кирилл Петрович, как вы думаете, почему англичане опубликовали сообщение о Свотре? Из человеколюбия? Вы, я понимаю, движимы самыми высокими чувствами. Английские ученые, на станции «Берд», возможно, тоже. Год назад вы виделись с ними, говорили, делились идеями, и беспроводный телеграф открыли, похоже, одновременно. Примеров параллельных открытий в науке тьма. Ломоносов — Лавуазье, Бойль — Мариотт, Уатт — Ползунов, Черепанов — Стеффенсон. Леонидов и мистер Икс. Так вот, вас, как человека интеллигентного, совестливого, просто честного, гибель людей возмутила. Вы сообщили об этом англичанам. Те — в Лондон. Появилась публикация. А дальше — что?

— Что? — переспросил Леонидов.

— Сообщению-то цена — грош. Источник не указан, значит — поклеп, навет.

— Но ведь...

— Но ведь люди погибли, это вы хотели сказать? Совершенно верно. И поэтому источник информации начали искать. Прежде всего допросили людей на Пулковской станции перемещения. Двенадцать человек запишите на свой счет, Кирилл Петрович. На очереди — отбывшие с Марса за последний год. Затем придет черед живущих здесь. Всех, от последнего поселенца до первого вожака. Вы что, действительно думаете, что в Департаменте будут интеллектуальные загадки решать, что да как? Метода простая — допрос расширяющимися кругами. Тысячу человек сломать? Сломают столько, сколько сочтут нужным. И когда очередь дойдет до вас, вы расскажете все. Обязательно расскажете. Любой расскажет. Только допрошенные до вас — вы ведь действительно их не воскресите. Пока будут идти массовые допросы, пока подберут новую администрацию, пока пришлют новых поселенцев — вся деятельность на Марсе будет стоять. Добыча русина приостановится, остановится производство красной стали, армия недополучит десятки, а может быть, сотни бронеходов. Вот зачем англичане и опубликовали сообщение, переданное вами, вот почему они пока держат открытие беспроводного телеграфа в тайне.

— Это... Это шантаж, милостивый государь!

— Не знаю. Вряд ли. Просто обрисовываю

положение вещей. И даю советы.

— Какие такие советы?

— Полезные. И приятные. Вы сообщаете всему миру о своем открытии. Приоритет за Россией! Становитесь национальной гордостью державы. Получаете уйму научных премий и всеобщее признание. Разумеется, возвращаетесь на Землю, создаете институт, можете взять сотрудников отсюда, из Алозорьевска. И работаете, работаете, сколько душе угодно. Плохая перспектива для ссыльного ученого?

— Полная, безграничная свобода?

— Во всяком случае, клетка станет куда просторнее, и прутья вызолотят.

— А взамен что?

— Ну что с вас возьмешь, Кирилл Петрович? Вы и так со всеми потрохами принадлежите Отчеству. Как и я, и любой другой. Ну, попробуют англичане сослаться на вас, я имею в виду инцидент на Свотре, так вы скажете — враки, ложь. Не беспокойтесь, они-то вас подставили безо всякого сожаления.

— Ваши предположения настолько дико и несуразны...

— Что соответствуют действительности, верно? Так я могу сообщить на Землю о вашем великом открытии? А то, боюсь, Департамент вот-вот начнет расширять круг подозреваемых...

Шаров надеялся, что говорит правду. Что круги еще не разошлись. Что удастся быстро погасить инерцию Департамента. И что все, о чем он сейчас говорил — правда.

Леонидов долил остывшей воды, щипчиками попытался раскусить кусок сахара, но никак не мог захватить его меж зубьев. Дрожали руки.

— Хорошо. Поспешите, капитан. Поспешите, и пропадите вы все пропадом.

ГЛАВА 9

— Мы уверены, что вы с честью оправдываете оказанное вам доверие и сумеете перестроить службу безопасности в соответствии с сегодняшними задачами.

Шаров только склонил голову.

— До встречи, подполковник, — начальник Второго отделения Департамента еще раз пожал руку Шарова и направился в камеру перемещения.

До встречи. На Земле или на Марсе? Как знать. Не тяжелы ли новые погоны, подполковник? Так ведь не дома. Тут, на Марсе, все легче. Погоны тоже. Карьеру делаешь? Не делаешь, а делаем, нечего отделяться. Никакой шизофрении, просто задушевный разговор меня со мной. Ну, поговорим, поговорим. Других собеседников у тебя-меня-нас долго не будет. Это почему же? Я теперь высоко вознесся. Третий вожак Марса. Головокружительная карьера. Помни, кому обязан новым назначе-



нием. Да уж запомню. Век на Лукина молиться буду. Пока ты-я всякими умными штучками интересовался, он, молодец, нарыв расковырял. Ну, положим, дело нехитрое, так и так Спицину конец был. Хотел утаить от Отчизны важнейшее открытие, передать англичашкам. На тебя покушался трижды. А главное — ускользнувший сорняк заговора генералов. Пустил, сволочь, корни на Марсе, думал — спрятался. От Департамента не спрячешься. Чистка собственных рядов, беспощадное избавление от инородной заразы. Ладно, ладно, мне-то не заливай. Что будешь делать с Лукиным? А что теперь с ним сделаешь? Сам отпустил. А что, нужно было его убить? Пытался же он убить тебя трижды. Всепрощенчество, да? Или русская рулетка? Кстати, запомни или запиши, придется тебе-нам поискать его сообщника, да и решить — от себя от убивать задумал, по злобе и зависти, или кто приказ ему такой дал. Департамент большой, сторукий, часто враздрай идет. Себя не жаль — обо мне подумай, я ведь жить хочу. Я тоже. Чем не жизнь? Воды первичной — залейся, воздуху — тоже, жилью — просто хоромы. И дел всего — пошерстить службу безопасности. Проще сказать — создать заново. Искоренить саботаж и вредительство. Как искоренять, знаешь? Знаю, не учи. Сначала вредительство надо организовать, тогда будет что искоренять. Умничка, капитан. Подполковник. Попрошу не забывать! А куда это мы идем? В наш новый кабинет, подполковник. Видишь, адъютант, подчиненные. С докладами пришли. Подождут. Мы теперь — фигура. Из пешки во ферзи. Это тебе не Леонидова соблазнять, Мефистофель с товарами лавки-алтынки. А все-таки я оказался прав. Ну и что с того? Еще скажи, что спас тысячи людей. Себя ты спас. А я

что — не человек? Две ноги, без перьев, значит человек. И сажу в хорошем месте, оно меня красит. А я его? Неважно. Вон, портретик напротив, с ним поговорить можно, если ты найдешь. Я? Себе? Хорошо, поговори, попробуй. Лицо у него симпатичное. Первый покоритель Марса, отдавший жизнь за Освоение. Привет! Привет. Только я не первый, кто жизнь отдал. Нас отряд был, двадцать человек. Я пятым шел. Задание простое — установить матричный отражатель. Посылали-то нас напрямую, перемещение энергии требовало — город год мог греться. Не Урюпинск — Москва. Ответственность какая! Готовились днем и ночью. Не знаю, что было с первыми, но канал не работал. Послали меня. Я успел, установил отражатель, на Землю навел, и — тромбоз. Кровь кипела. Да я бы все равно умер, обратный путь так просто не сделаешь, пока матрицу откалечат... Поговорил, подполковник? Поговорил. Невеселые у нас разговоры. А меньше болтай, дело делай. Их у нас невпроворот. Начинай, начинай. Я пособлю.

Шаров взял бумагу. Направление в Высшее училище. Департаменту требуется свежая кровь. Нужны юные, преданные души. В твоей власти послать человека на Землю. А дальше — как сложится.

Пером, гусиным, от предшественника наследство, он вписал: «Ушакова Надежда Александровна». Затем потрянул колокольчик.

Адъютант — влетел.

— Офицеры собрались?

— Так точно, ваше превосходительство.

Ждут.

— Проси, — и он устало откинулся на спинку кресла.



Ведущий рубрики
Сергей КАЗАНЦЕВ

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ФАНТАСТА

Не самое легкое дело подобрать литературному герою простое запоминающееся имя. Обычно пользуешься списком футбольных команд, там фамилии перемешаны без всякого порядка, выбирай все, что кажется тебе естественным. Это Сергей Александрович Другаль, прекрасный фантаст, да еще и доктор технических наук, академик и генерал-майор, любит изобретать имена сам. Я видел у него листки с набросками имен, от которых дух захватывает. К примеру, сеньор Окодетто. Что к этому добавить?... Или сеньор Домингин. Такому можно доверить родную дочь... Или Ферротего. Этот, конечно, изобретатель... А Липа Жих? Такие, как Липа Жих, нравятся крепким, уверенным в себе мужчинам, если, конечно, Липа Жих женщина... Еще Мехрецьки. Тут все понятно. Тут не нужны пояснения. Мехрецьки есть Мехрецьки, а Глодик и Зебрер — его приятели... Блевещкая и Шабуню — этих бы я в дом не пустил, нечего им делать в моем доме... Но если говорить всерьез, по-настоящему у Другаля меня всегда восхищала легкая белокурая девушка, порожденная прихотливой фантазией академика и генерал-майора — добрая, любящая, немножко застенчивая Дефлорелла. «Разбойники вели тихую скромную жизнь...» А с ними — девушка Дефлорелла.

Николай Константинович Гацунаев, фантаст, много лет проживший в Узбекистане, как-то рассказал мне об одном своем приятеле, жившем, в отличие от него, даже не в Ташкенте, а в весьма отдаленном от южной Азии Минске. Занимался приятель фермерством. Однажды в полдень на «Кировце» приятель Гацунаева распахивал свекловичное поле. Работа однообразная, пыльная, рядом скоростное шоссе Минск—Москва. Трактор рычит, машины рычат, все под тобой дергается. Однообразная, надо сказать, работка. Устав и решив перекусить, приятель Гацунаева подогнал трактор к обочине. На глазах равнодушной ко всему шоферни, мчавшейся по скоростному шоссе, приятель-фермер устроил на старом

пне нехитрую закуску, выставил чекушечку водки. Сто грамм, не больше, но чекушечка должна стоять перед ним! — у каждого свои устоявшиеся привычки. Вот эти сто граммов фермер и налил в стакашек, уверенно отведя локоть в сторону и торжественно задирая голову, чтобы принять привычный вес. Но в этот момент кто-то его требовательно по плечу похлопал. «Иди ты!» — сказал фермер, зная, что местные алкаши запах алкоголя чувят чуть не за 30 км. И обернулся. Прямо ему в глаза, опираясь на блестящие, как бы под собственном весом расплзающиеся спиральные кольца, пристально, даже загадочно смотрел гигантский питон. Фермер и раздумывать не стал, чего тут раздумывать? Одним движением он расшиб чекушечку о пень, зажал в руке ужасное холодное оружие и бросился на питона. Особой веры в успех фермер не испытывал, но надеялся на помощь — машины по скоростному шоссе так и катили одна за другой. По словам Гацунаева, а Гацунаеву можно верить, битва Геракла со Змеем длилась минут двадцать. Кровь вставала фонтанами. В пылу борьбы совсем уже распутавшийся питон бил хвостом чуть ли не по летящим мимо КАМАЗам и ЗИЛам, но ни одному водителю и в голову не пришло остановиться, узнать — не причиняет ли гигантский питон каких-либо неудобств маленькому несчастному человеку?.. В итоге фермер все-таки победил тропическое чудовище. Он сидел на обочине весь в крови, сжимал в руке грозный зазубренный осколок чеку-

шечки и рыдал. А машины шли и шли мимо него, мимо трупов растянувшегося на все десять метров питона, мимо луж крови. «На реках вавилонских, там сидели мы и плакали...» Тревожная фраза. Надо заметить, что фермер, о котором шла речь, никогда не бывал в цирке, никогда не бывал в зоопарке, никогда не видел настоящего питона. Но так распорядилась судьба: сражаться со сбежавшим из разъездного зоопарка питоном — и выиграть!

Социалистический реализм. Не метод, не метод. Образ жизни, скорее, образ мышления. Когда человек долго что-то твердит про себя, он и поступать начинает соответственно. Один мой старший товарищ (назовем его Саша), с юности вхожий в весьма высокие кабинеты, как-то рассказывал мне сценку, разыгравшуюся на его глазах.

Он, Саша, сидел в просторном кабинете генсека комсомола (если не ошибаюсь, в конце шестидесятых комсомолом управляли генсеки), курил отличные американские сигареты генсека, слушал острые, очень смешные, хотя и циничные, анекдоты генсека, — прекрасное времяпрепровождение, которое, к сожалению, было прервано секретаршей. Из солнечного Узбекистана, сообщила секретарша, прибыл некто Хаким, комсомолец-ударник, определенный на учебу в Москву. Есть мнение: данного Хакима обустроить в Москве, чтобы он хорошо изучил жизнь большого комсомола, чтобы он большой опыт привез в родную республику. Минут через десять, — кивнул генсек. Он еще не закончил захватывающую серию анекдотов. Наконец анекдоты были рассказаны, генсек и Саша отсмеялись. Эти придурки едут один за другим, добродушно пожаловался генсек, закуривая хорошую американскую сигарету. Всех в Москву тянет. Но придется Хакима определять — кадры... Когда Хаким вошел и поблудостранно, как и подобает скромному узбекскому комсомольцу-ударнику, скинул скромную бухарскую тюбетейку, генсек работал. На столе перед ним лежали бумаги, в пепельни-



це дымила отложенная сигарета...

Увидев это, Хаким пал духом: он у генсека, а генсек занят, а генсек думает о судьбах демократической молодежи, а он, Хаким, отнимает у товарища генсека время! Как найти верный, правильный подход? Как правильно и верно повести беседу, чтобы Москва не оказалась городом на две недели?... Наконец генсек поднял усталые глаза. Саша видел, он знал — генсеку нечего сказать, вся эта встреча — пустая формальность, Хакима определил бы в Москве любой второстепенный секретарь. Но кем-то было дано указание — комсомольцев из республик пропускать через генсека, это указание механически выполнялось. В усталых глазах генсека роилось безмыслие. Он сказал, подумав: надо много работать, Хаким. У нас много работают. Мы, комсомольцы, должны служить примером в труде и в быту. Вот ты будешь некоторое время работать в Москве, Хаким. Ты отдаешь себе отчет, как много тебе придется работать? Слово сочетание «некоторое время», неопределенное, а потому и опасное, не понравилось Хакиму. К тому же, по восточной своей мудрости, Хаким вообще не воспринял прямого смысла произнесенных вслух слов, он искал внутреннего, он искал затаенного смысла, некоей партийной эзотерии, партийной тайны. Он с ума сходил от желания угодить генсеку, гармонично вписаться в строй его мудрых мыслей. Он судорожно искал выигрышный ход. Мы в солнечном Узбекистане много работаем, ответил он как можно более скромно. У нас славный солнечный комсомол, но нам нужен опыт. Я хочу много работать, много готов я работать тут! «Тут...» Некоторое время генсек с сомнением рассматривал Хакима — его круглое доверчивое лицо, его черные широко открытые глаза, по самый верх полные веры в великолепные коммунистические идеалы. Сам дьявол столкнул генсека в тот день с тысячу раз пройденного, тысячу раз опробованного пути. Ни с того, ни с сего, сам себе дивясь, видимо, день выдался такой, генсек вдруг спросил, с трудом подавляя зевоту и понимая, что разговор, собственно, уже кончен: «Это хорошо, Хаким. Это отлично, что ты будешь работать много. Я верю тебе, так и должно быть. — Обычно после таких слов генсек отдавал надоедавших ему хакимов в руки опытной секретарши, но в этот день, точно, сам дьявол дернул его за язык — А над чем, Хаким, ты сейчас работаешь?» Хаким сломался. Он ждал, чего угодно, только не такого вопроса в

люб. Он держал в голове всю фальшивую статистику солнечного комсомола, какие-то цитаты классиков, интересные яркие факты из богатой и содержательной жизни узбекского солнечного комсомола, но так... Работаешь?.. Какая работа?.. Он в Москве даже выпить еще не успел!.. Но всем комсомольским открытым сердцем Хаким почувствовал — ответить необходимо. От правильного ответа зависела сейчас вся его судьба. Ведь если он неправильно ответит, его могут вернуть в солнечный Узбекистан, а там его могут отправить убирать хлопок, ну и так далее... Но — работа!.. Что могло означать это слово?..

Терзаясь, Хаким припомнил, что в гостиничном номере на его столе валяется забытая кем-то книга Пришвина — собрание сочинений, том второй, что-то про зайчиков, про солнечные блики, про капель, ничего антисоветского, запрещенного, легкое все такое... Хаким видел: брови генсека удивленно сдвигаются, взгляд темнеет, молчать было нельзя. Жизнь человеку дается один раз, успев подумать Хаким, и выпалил: «А сейчас я работаю над вторым томом сочинений товарища Пришвина!» Я же говорил, сам дьявол смешал в тот день карты... Теперь сломался генсек. Он ожидал чего угодно. Фальшивой статистики, вранья, жалоб, просьб, ссылок на классику... Но — Пришвин! У генсека нехорошо дрогнуло сердце. Полгода назад завом отдела в большом комсомольском хозяйстве генсека работал некий Пришвин. Он, генсек, сам изгнал этого Пришвина из хозяйства — за плохие организационные способности. Это что же получается? Всего за полгода изгнанный Пришвин сделал карьеру, издал уже второй том сочинений, а ребята генсека все проморгали?... Что же там вошло во второй том? — не без ревности подумал генсек. Наверное, речи, выступления на активах... Но в панику генсек не впал. Нет крепостей, которых бы не взяли большевики. Он поднял на Хакима еще более усталый взгляд, дохнул на него ароматным дымом хорошей американской сигареты и, как бы незаинтересованно, как бы давно находясь в курсе дела, понимающе заметил: «Ну да, второй том... Это хорошо, что ты много работаешь, Хаким... Это хорошо, что ты работаешь уже над вторым томом... — Генсек шел вброд, наощупь, пытаясь проникнуть в темную тайну. — У тебя верный взгляд на вещи, Ха-

ким... Но ведь у товарища Пришвина... Но ведь у товарища Пришвина... Ну да, у него, в общем, плохие организационные способности...»

Слово было сказано. Хаким покрывшись испариной. В его смуглой голове сгорела последняя пробка, но спасительную тропу под ногами он нашупал. Он решил погибнуть в этом кабинете, но не сдаться. Наверное, не зря в моем номере оказался том товарища Пришвина, решил он. Подкинули, проверив бдительность... Мало ли что там зайчики да капель... Это как посмотреть... И за апрельской капелью можно рассмотреть затаенное что-то, страшное... Он, Хаким, теперь много будет работать над классовыми произведениями товарища Пришвина... Правда, и замечание генсека следовало учесть... «Да! — выдохнул, чуть не падая в обморок Хаким, — организационные способности у товарища Пришвина плохие, но природу пишет хорошо!» Теперь последняя пробка сгорела у генсека. «Ты прав, Хаким, — с трудом выдал он, — природу он хорошо пишет... — Генсек в толк не мог взять, при чем тут природа. — Это верно, Хаким, товарищ Пришвин хорошо пишет природу, но вот организационные способности... Вот организационные способности у него плохие...» «Плохие, плохие!» — восторженно подтвердил спасенный Хаким. «Но природу хорошо пишет!» — потрясенно согласился спасенный генсек. Это, наверное, и есть социализм...

Как-то на дубултинском семинаре ленинградский писатель-фантаст Александр Иванович Шалимов, человек деликатный, воспитанный, рассказывал о Памире 30-х годов, когда там еще хозяйничали басмачи, а к пограничным заставам нередко спускались с ледников волосатые галубяваны, так на Памире называют снежного человека. Понятно, эти несчастные попадали в руки чекистов. К сожалению, ответить на резкие, в упор поставленные вопросы — кем подослан на кого работаешь, пахла? признаешь ли диктатуру пролетариата, бандит? — галубяваны при всей своей внешней расположенности к новым властям ответить не могли — не знали языков. На всякий случай упрямых волосатиков ставили к стенке. Александр Иванович (он в то время был геологом) и его друзья



никак не успевали поспеть к месту происшествия вовремя, чтобы вырвать очередного галуб-явана из рук принципиальных чекистов. «Но однажды... — волнуясь, повысил голос Александр Иванович, — однажды совсем рядом от нашего лагеря мужественные пограничники... захватили... самку... самку... самку...» Волнуясь, он никак не мог закончить начатую фразу, и кто-то уважительно подкасал с места: «...басмача!».

14 февраля 1993 года, за несколько дней до столетия Абрама Рувимовича Палей, я побывал у него на Полтавской улице (это совсем недалеко от стадиона «Динамо»). Старый фантаст слышал плохо, не только этим, впрочем, напомнив мне Циолковского — маленький, аккуратненький костяной старичок в большом кресле, правда, без жестяной слуховой трубы. Впрочем, Палею хотелось все слышать, он здорово старался и, в общем, ему многое удавалось. Он был полон любопытства. Он, написавший «В простор планетный», и «Гольфстрим», и «Остров Таусена», и «Без боли», вдруг, например, захотел узнать: а как это все-таки радиоволны проходят сквозь стены?.. Прожитое столетие переполняло его. Вдруг он вспоминал давнее стихотворение. Вдруг спрашивал о сегодняшних фантастах, которых никогда не читал. Иногда приходят, говорил он о каких-то людях, видимо, ассоциирующихся в его сознании с современными фантастами, берут старую редкую книгу, обещают — переиздадим. И исчезают... Вдруг, по неведомой ассоциации, вспомнил некую сотрудницу журнала «Революция и культура». Эта милая женщина принимала у него стихи, никогда их не печатала и чертовски при этом любила жаловаться на жизнь. Будучи человеком добрым и небогатым, Палей ее понимал, от души сочувствовал. Как же! Сырая комнатенка... Одиночество... Безденежье... Даже личную пишущую машинку продать нельзя, профсоюз запрещает — нельзя извлекаться от орудий производства... Однажды узнал фамилию — Алилуева... Аделина Адалис? Как же, он помнит. Ее любимым словом было — «вредитель». Леверье? Ему ли не знать. По просьбе великого Леверье один цветок назвали Гортензией. Так звали любимую Леверье.

Или его жену. Впрочем, эти понятия должны накладываться друг на друга. А вы покупаете книги? Или работаете в библиотеке? Если да, то в какой библиотеке работаете? Я, например, составлял картотеку для Венгерова. Даже его письмо сохранил... Палей оказался полон динамики и неистового любопытства. Все-таки вот, — воодушевленно спросил он, — каким образом летают самолеты? Как они, собственно, летают? Как держатся в воздухе? Почему паровоз не может летать? Вот сколько часов летит самолет в Москву из Новосибирска? Я, как мог, отвечал. Что-то про перепад давлений под плоскостями и тому подобное. А держится в воздухе самолет, поясняя я, пока у него есть горючее, плоскости не обломались и пилоты не надрались. Палей задумался. Что-то его мучило. Какой-то главный вопрос бушевал в пучинах его загадочной души. А может, не вопрос, может, наоборот, ответ на какие-то вопросы. Смирив себя, он прочел стихи. Потом рассказал, как известный поэт-песенник, да что там известный, знаменитый! — стащил несколько строк для своей песни из его стихотворения, опубликованного еще в дореволюционном ежемесечнике «Свободный журнал». Стихотворение Палей начиналось такими словами: «Город замер в сонной дымке, гаснет зарево зари, и на ножке-невидимке блещут бусы-фонари», а у Лебедева-Кумача в знаменитой песне «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля...» было так: «Вечер реет в белой дымке в ярком зареве зари, и на ножке-невидимке блещут бусы-фонари». После скандала — чуть ли не правление СП собирали — Лебедев-Кумач написал новое четверостишие: «День уходит, и прохлада освежает и бодрит, отдохнувши от парада, город праздничный гудит...». Пожаловавшись, Палей с удовольствием показал книгу стихов «Бубен дня», изданную им в Екатеринославе еще в 1922 году, а потом корректуру книги, тоже стихов, которая вот-вот должна была выйти в Хабаровске. Тиражом в 150 экземпляров. «Для книги стихов большого тиража не надо. Я первое стихотворение написал в семь лет, последнее буквально на днях...» Из интервью, данного корреспонденту газеты «Книжное обозрение» М.Ремизовой: «Что вообще чувствует человек, проживший на свете 100 лет?» — «Чув-

ство огромных потерь, бесконечных потерь, потому что ушли все люди, с которыми я был близок, которые мне были интересны, и это необратимо». Жизнь в опустевшем мире... Отсюда и вопросы. Как летает самолет, почему летает самолет, почему электропоезд не летает?.. Когда я уходил, Абрам Рувимович Палей, известный фантаст и торжественный старичок, от нетерпения, от желания высказаться даже весь приподнялся в кресле: «Четыре часа, говорите? Самолет летит от Москвы до Новосибирска всего четыре часа? — Хорошо выдержав паузу, он потряс в воздухе пальцем, дружески даря меня своим озарением: — Запомните, молодой человек! Когда-нибудь они будут летать еще быстрее!» Единственный советский фантаст, переживший крушение подряд двух империй.

— Сколько у нас там времени? — спросил, спеша, Гацунаев. Я взглянул на симпатичный экран своих электронных часов и честно назвал вслух цифры, которые увидел на экране: «Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты». Вот сколько времени в тот момент у нас было!

«Перевод с неандертальского». Еще один ненаписанный рассказ. Некий мощный компьютер обрабатывает найденные при раскопках черепки, странные знаки, обломки некоей примитивной утвари, воссоздавая быт и судьбу некоего неандертальца, который совершил огромное путешествие по большой реке, многое видел, кое-что понял и попытался сам для себя обозначить свое путешествие в неких изобретенных им знаках. Этот сюжет пришел мне в голову еще на Сахалине, где-то в году шестьдесят пятом, нет, наверное, в шестьдесят шестом, когда на Итуруле мы с Володей Федорченко не раз наткались на черепки айнской посуды, засыпанные песками. Несколько раз я принимался за него. Но ничего, кроме «Снежного утра», как-то не написало. А что-то есть в этом, есть... «Перевод с неандертальского»...

Одна из причин потопа. Когда-то китов, на которых стоял мир, было



четыре. Потом один сдох. Пока устанавливалось равновесие, мир здорово покачалось.

Связь поколений. На Кунашире в кафе «Восток» я пил с богодулом, на полном серьезе уверявшем меня, что однажды в Тихом — (когда-то богодул был боцманом и своей основательностью, усами, даже медлительными уверенными жестами страшно напоминал боцмана Пинаева, прекрасного Женю Пинаева, писателя из Екатеринбурга, тоже в прошлом боцмана) — при совершенно ясной погоде и трезвой памяти видел тех самых трех китов, на которых стоит мир. Величественное зрелище. Один из первых вариантов «Великого Краббена» начинался с этого эпизода. А однажды на литературном семинаре в Томске энергичный молодой человек прочел вслух поэму, которая заканчивалась следующей загадочной, устрашающей, я бы даже сказал, угрожающей строфой: «Но мы, начавшие с креветок, прикончим ваших трех китов!»

Еще Гораций писал: многие поэты не дают себе труда стричь ногти и брить бороды, ищут уединенных мест, избегают бань... «Что изменилось?» - думаю я, глядя на очередного Малышева.

О памяти растений. Мичуринский участок томского фантаста Виктора Колупаева расположен в коллективном саду возлем местного аэропорта. Когда Ту-154 или там Ил-86 на форсаже уходят в небо, от рева и ужаса на грядках закрываются все цветы. Более того, жаловался Виктор, если какой-то рейс отменен, в

минуту его обычного взлета все цветы, несмотря на тишину, все равно закрываются...

«Стихотворение». Тоже из ненаписанных рассказов. В третьеразрядном кабаке пьяный неудачливый поэт продает странному человеку за небольшие деньги свое новое стихотворение. Записал его на салфетке. Странный человек говорит: в конце века эти стихи будут учить в школе. Так часто говорят, угрюмо отвечает поэт, ты добавил бы немного. Хватит, говорит человек. Довольно того, что это стихотворение будет напечатано. Где? Когда? В журнале «Арион», в 1999 году. Не доживу... Не слышал о таком... Большевики не позволят... Утро. Болит голова. Не может вспомнить собственное стихотворение. Ни слова. Только ощущение: вчера он, наконец, держал удачу в руке... Звонит странному человеку, а того нет. Вообще нет такого по указанному адресу. Объезжает друзей. Да ну, говорят они, ну, подсаживался какой-то тип. Отчаяние. Лезет в карман, радуется: а вот еще есть немного денег. Глядит на календарь: какой у нас год? Предчувствие выпивки радует. Ах, 1979-й! Подождем. До конца века немного осталось... В портрете что-нибудь от Жени Шунько, от Мартина Мелодьева.

Из письма В.Шкаликова (01.09.95): «Вот думаю (в аэропорту хорошо думается!): до чего интересно легли пути четырех фантастов русской литературы. Прашкевич трудится на ниве, Колупаев — на поле, Шкаликов — на огороде, а Рубан — витает в облаках. Вот ведь гад!».

Сюжет фантастического рассказа. Селекционер вывел новый сорт кукурузы: крайне агрессивная, защищает себя от колхозников сама.

Только Курт Воннегут мог позволить себе указать в афише название лекции: «Как найти работенку вроде моей».

Амфора с клеймом на древнегреческом: третий год до новой эры.

«Захожу я в свой подъезд, на площадке крышка гроба, дверь квартиры приоткрыта, ходят люди взад-вперед. Это значит, кто-то умер, ну а я пока что жив. Кто-то умер и не дышит, ну а я пока что жив. Объявление в черной рамке, это же моя училка, что была в начальных классах, а теперь она в газете. Это значит, кто-то умер, ну а я пока что жив. Он уже совсем холодный, ну а я покамест жив. Друг записку мне оставил: «Не могу я жить в общежитии, лучше слопать горсть таблеток». Врач сказал: «Ему каюк». Это значит, кто-то умер, ну а я пока что жив. Он теперь сгниет в могиле, ну а я покамест жив». Павел Лобанов. Стихи с томского семинара.

Поразительно, кого только не было на «Титанике»! Там находился даже писатель-фантаст — Джон Эстор. Погиб при кораблекрушении.

Еще Иоганн Кеплер утверждал, что летать на Луну проще всего на демоне. Правда, это можно делать и при помощи ангелов (Атанасиус Кирхер, 1601-1680), но демон — это как-то солиднее.



А.Иванов. Оба берега реки. Продолжение.

— Нет уж, — решительно заявляю я и отставляю тарелку. — Лучше быть сегодня голодным, чем завтра холодным. Давайте водку пить.

Приуныв голодные отцы отставляют тарелки. Однако Градусов с потом на висках упрямо давится картошкой.

— Если еще хоть капельку съем — точно, проблоюсь, — хрипит он и, как нож в сердце, втыкает ложку в рот. Мгновение он сидит зажмурившись, с полной пастью. Потом хватается за лицо и мчит в кусты. Возвращается он бледный, на дрожащих ногах. Молча зачерпывает кружкой из котла чаю и делает сладострастный глоток. Тотчас его глаза вывинчиваются из орбит, он прищепывает рот ладонью и опять улетает в кусты.

— Смотреть надо, из какого котла черпаешь, — назидательно говорит всем Тютин. Отцы ржут, валясь друг на друга.

Борман встает и, утирая глаза, уходит. Через минуту он приносит большую емкость с водкой и бутылку вина.

— Для девок, — грубо поясняет он. — Небось, водку они не станут... Люська визжит и хлопает в ладоши. Маша улыбается. Из кустов, шатаясь, выходит несчастный, прозрачный Градусов.

— За что выпьем? — разлив, хозяйственно интересуется Борман.

— Давайте за Географа, — бескорыстно предлагает Чебыкин. — Что не насвистел и по-настоящему взял нас в поход.

— И чтоб вы его в командиры вернули, — добавляет Люська.

— Нет. За Географа, конечно, выпьем, но в командиры его не вернем, — строго ограничивает Борман, и мы выпиваем.

— Дак кто ж тогда у нас командир? — наивно спрашивает Люська.

— А нафиг он нужен? — пожимает плечами Демон, приобнимая ее.

— Мы все — командиры! — гордо заявляет Чебыкин.

— Вы, пацаны, конечно, все командиры, — говорит Люська, — токо катамаран сломали, да не жрали ни в обед, ни в ужин...

— Так выберите одного командира, — подсказываю я.

— Давайте Чебыкина, — тотчас предлагает Люська.

Демон обиженно убирает руку с Люськиной талии.

— Ты что, дура? — изумляется Чебыкин. — Не-е, я не умею...

— Тогда давайте Деменева, — молниеносно меняет мнение Люська.

— Куда, на хрен, Демона! — орет Градусов. — Ему же все пофиг!

— Тогда Овечкина, — говорит Люська.

— Я свою кандидатуру снимаю, — солидно говорит Овечкин. — А ты, Митрофанова, что, секретарь у нас?

— Дак чо! Вы же молчите! Надо же кому-то предлагать! Вам же командира выбирают, они и не довольны!

— Я хочу быть командиром, — скромно заявляет Тютин.

Отцы роняют кружки, хватаются за животы, валятся с бревен. Маша хохочет так звонко, что отзывается эхо на Семичеловечей.

— Уйди, уйди, Жертва! — визжит Градусов, пихая Тютина. — Щас умру!

Когда все отсмеялись, Градусов утирается и заявляет:

— В общем, меня надо командиром.

— Тебя? — хором удивляются все.

— А кого же еще? Вас, что ли, бивней?

— Дак ты же дурак... — обескураженно говорит Люська.

— Ты все время орать будешь, — боязливо общается Тютин.

— Я?! Да когда я орал, ты, скот?! — орет Градусов.

— Орешь — больше, чем вешишь, — соглашается с Тютиным Маша.

— Чего гадать, один Борман и остался из нормальных, — просто решает проблему Чебыкин.

— Если уж не Виктора Сергеевича, то Бормана, — поддерживает Маша.

— Бормана, да? — кривится Градусов и злобно плюет в костер. — Ну, ладно! Ну и выбирайте себе Бормана, если такие пробитые! Только мне он не начальник! Я ему подчиняться не буду!

— Да и фиг с тобой, — спокойно говорит Борман.

Мы пьем дальше. Летят в костер дрова, летят в кусты пустые бутылки, летит к небу огонь, летят звезды, летит и кружится мир в моей голове, летит время.

— Я еще никогда столько не пил!.. Я еще никогда таким пьяным не был!.. — изумляется Чебыкин, подставляя кружку. — Нифига себе!..

— Водки? — спрашивает Борман, когда у девочек кончается вино.

— Капельку, — говорит Маша. — Я раньше никогда ее не пробовала...

— А я и пробовала, и пила! — заявляет Люсь-



ка. — Сто раз! Однажды я на дне рождения у Цыплакова...

— Лю-ся, — укоризненно одергивает ее Маша.

— У нас в деревне в прошлом году один мальчик напился водки и умер, — рассказывает Тютин. Голова моя полна цветного тумана.

Тютин напивается первым. Это замечают, когда он вдруг затягивает какую-то заунывную песню. Борман оттаскивает Тютина в палатку. Оттуда недолго еще доносится пение, но затем стихает.

Следующей приходит очередь увлекшегося Чебыкина.

— Что-то я уже напился так эротично... — бормочет он, ослонившись.

По кривой он тоже уходит в палатку и больше не возвращается.

Вскоре от компании откалывается Градусов. Какое-то время он что-то ожесточенно втолковывает пню на поляне, потом вообще исчезает. Через пять минут из кустов раздается могучий храп. Мы с Борманом идем туда. Градусов спит на земле, ширинка его расстегнута. Называется, погрузился в сон, не надев кальсон. Вдвоем с Борманом мы штабелируем Градусова вместе с Тютиним и Чебыкиным.

Демон, видимо, намеревается спить Люську с какими-то темными целями. Он все подливает ей и себе. Люська хлещет водку и лишь румянится, а Демон с оловянными глазами уже раскачивается по кругу. Борман за воротник ставит его на ноги и нацеливает на палатку. Демон с трудом, но попадает туда. Доносится его сладкий голос:

— Люсенька, дорогая...

— Убери протезы, бивень! Щас как дам в пирамму — будет тебе Люсенька дорогая!..

Мы хохочем. Люська выразительно глядит на Бормана. Смущенно покряхтывая, Борман предлагает ей прогуляться. Они уходят в лес. Я остаюсь с Машей и Овечиным. Краем глаза я вижу, как Овечкин осторожно берет в руки Машину ладошку. Н-да, третий — лишний... Я забираю остатки водки в бутылке и отправляюсь на берег Поньша.

Я сижу на берегу Поньша, пью водку, курю, смотрю на затопленный лес, на туманную от Луны реку, на скалу Семичеловечью, которая призрачными парусами белеет вдали. До меня долетает шум порога, разломившего наш катамаран. Все небо над Поньшем заполнено серебряными серпами, треугольниками, бумерангами.

Хмельная тоска сосет душу. В голове звучит только одно: Маша... Маша... Маша... Я готов утопиться от того, что настолько неравен с ней. Я до хрипа в груди завидую сейчас Овечкину. Я допи-



ваю водку и по топкому берегу лезу умываться. Я бросаю в глаза холодную, тяжелую воду, а потом погружаю в нее лицо и руки. Пусть река смоет мои желания, как грязь. Разве я не обрел того, чего хотел?

Я возвращаюсь на поляну и лезу в палатку, холодную и темную.

— Виктор Сергеевич, а что завтра делаем? — тихо спрашивает Борман.

— До обеда лезем на Семичеловечью, после — плывем.

— Может, не полезем? Времени-то мало.

— Надо, Борман, — твердо говорю я. — Иначе зачем в поход идти?

— Ну, как скажете. А я вот дежурных на завтра забыл назначить.

— Назначай меня, — советую я. — Все равно я первым проснусь.

— Тогда берите в напарники Градуса, раз вы такие друганы...

Люська спит в спальнике звездой. Я складываю ее, как циркуль, и отодвигаю в сторону. Я лежу, смотрю в темный купол палатки, подпертый шестом, и слушаю, как ветер хрустит тентом. Хруст осторожно переползает с одного конца палатки на другой.

В палатку заходят Маша с Овечиным. Пошептавшись, они расползаются по своим местам. Машино место — между мной и Люськой. Я специально лег так, чтобы оградить собою девочек от ночных посягательств пацанов. Я тихо протягиваю руку. Маша ложится на нее. С минуту она лежит неподвижно, словно ждет, что я руку вытащу. За эту минуту с меня сходит семь потов.

Потом Маша поворачивается ко мне спиной и устраивается на моей руке поудобнее. Я бесшумно обнимаю Машу и прижимаю к себе. Затем ладонь моя накрывает Машину грудь. Я целую Машу в макушку.

И вдруг в тютинском спальнике словно взрывается граната.

— АЧХИ!!! — дико орет Тютин и спросонок бормочет: — Ой, мамочка... АЧХИ!!! АЧХИ!!!

Некоторое время над нами по-инерции висит тишина, а потом и я, и Борман, и Овечкин дружно раздражаемся гомерическим хохотом. И Машина грудка мелко клюет меня в ладонь. Мы ржем до кашля, до хрипа. Тютин дрыхнет по-прежнему безмятежно. Я вытаскиваю руку из-под Машиной головы — какая уж тут любовь? — и поворачиваюсь к Маше спиной.





Глава 3

Я просыпаюсь в таком состоянии, словно всю ночь провисел в петле. Еще не открыв глаз, я вслушиваюсь в себя и ставлю диагноз: жестокое похмелье. О, господи, как же мне плохо...

Все еще спят. Я вываливаюсь из палатки на улицу. Холодно, как в могиле. Моросит. Стена Семичеловечьей покрыта морщинами, словно скала дрожала от стужи, когда застыла. Над затопленным лесом холодная полумгла. Где вчерашнее небо, битком набитое звездами? Сейчас оно белыми комьями свалено над головой.

По нашему лагерю словно проскакали монголо-тагары. Все вещи разбросаны. Тарелки втопганы в грязь. В открытых котлах стоит вода. Обгорелые консервные банки в черных, мокрых углях.

Я бреду к кострищу и усаживаюсь на сырое бревно. Дождь постукивает меня в голову, словно укоряет: дурак, что ли? Дурак. Раз напился, так, конечно, дурак. Я закуриваю. В голове начинает раскручиваться огромный волчок. Хочется пить. Хочется спать. Ничего не хочется делать.

Похмелье, плохая погода — они не только в моем теле, не только в природе. Они в душе моей. Это у души трясутся руки и подгибаются ноги. Это у нее мутно в голове и ее тошнит. Это в ней идет дождь и холод лижет кости. А сам я — это много раз порванная и много раз связанная, истрепанная и ветхая веревка воли. И мне стыдно, что вчера эта веревка снова лопнула.

Мне стыдно перед Машей, что я вчера распустил руки. Ведь она девочка, еще почти ребенок, а я вдвое старше ее и вдесятеро искушеннее, в сто раз равнодушнее и в тысячу раз хитрее. Для нее, примерной ученицы, я не парень, не ухажер. Я — учитель. А на самом деле я — скот. Я могу добиться от нее всего. Это несложно. Но что я дам взамен? Воз своих ошибок, грехов, неудач, который я допер даже сюда?.. Куда я лезу? Маша, прости меня...

Мне стыдно перед Овечкиным. Иззавидовался, приревновал... Нос разъело. Переехал ему дорогу на хромой кобыле. Пусть уж простит меня Овечкин. Хоть бы он ничего не заметил!.. Я больше не буду.

Мне стыдно перед отцами. Свергли меня — мало, да? Опять напился! Изолировал их от девочек — мол, держать себя в руках не умеете. Не доверяю, мол. А сам?.. Бивень!..

Все. Самобичевание изнурило меня. Зоркие мои глаза давно уже видят прислоненную к противоположному бревну открытую бутылку. В ней настой-

ка водки на рябине. Есть водка на рябине, значит, есть бог на небе. Я беру бутылку и пью из нее. Потом я начинаю заниматься делами. Мир беспощаден. Помощи ждать неоткуда. Мне даже Градусов не помогает, хотя, между прочим, он сегодня дежурный. Я разжигаю костер, отогреваюсь от его тепла и иду мыть котлы. Потом ворошу мешки с продуктами и начинаю варить завтрак. Конечно, между делом не забываю и о бутылке. Когда она иссякает, завтрак готов. Я трясущими руками ору: «Подье-ом!.. Каша готова!..»

Я решил: кончено. Маши больше нет. Я никого не люблю.

Вершина Семичеловечьей — это плато, поросшее соснами. Оно полого скатывается к торчащим над обрывом зубцам Братьев. Между зубцами — ступенчатый лабиринт кривых, мшистых расщелин, загроможденных валежником.

Мы выходим к кромке обрыва. Внизу — страшная высота. Впереди, до горизонта, разливается даль тайги. Тайга туманно-голубая, она поднимается к окоему пологими, медленными волнами. И нету ни скал, ни рек, ни просек, ни селений — сплошная дымчатая шкура.

— Эротично!.. — бормочет Чебыкин, восторженно озираясь.

Прямо перед нами беззвучно поднимается жуткий идол Чертова Пальца. Кажется, что он вырастает прямо из недр ископаемой Перми, от погребенных в толще пород костей звероящеров. Он гипнотизирует, как вставшая дыбом кобра. Я чувствую его безмолвный, незрячий, нечеловеческий взгляд сквозь опущенные каменные веки.

— Фу, как смотрит... — ежится Люська.

Отцы, поеживаясь, поскорее проходят мимо каменного столба.

— Географ, а в эти ущелья соваться-то можно? — спрашивает Чеба.

— Суйтесь, — разрешаю я. — Только не звезданитесь откуда...

Чебыкин исчезает в одном из ущелий. Остальные почему-то медлят. Неожиданно Чебыкин показывается на одном из зубцов-Братьев.

— Эгей, бивни-и!.. — орет он и машет руками.

— Слезай немедленно!.. — хором в ужасе кричат Люська и Маша.

Но Чебыкин, довольно хохоча, карабкается дальше, исчезает за выступами, спускается в расщелины, появляется снова, ползя по скалам, как муха. С ледяным шаром в животе я слежу за его продвижением. Я боюсь даже вздрогнуть, словно этим могу его столкнуть. Отцы кричат, инстинктивно сжимая кулаки и напрягая мышцы. Люсь-



ка закрывает лицо ладонями. Я трясущимися руками вставляю в рот сигарету фильтром наружу и прикуриваю ее, ничего не замечая. Чебыкин взбирается на последний, самый высокий, острый и недоступный зубец. Он что-то вопит, размахивает шапкой, поворачивается к нам задом и хлопает по нему.

— Ну, все, конец Чебе, — цедит сквозь зубы Градусов.

— Там пещера-а!.. — доносится до нас крик Чебыкина.

Потом он быстро и ловко лезет обратно и где-то на полпути сворачивает, чтобы выбраться к пещере покороче.

— Давайте тоже к пещере двинем, — говорю я отцам. — Вон туда...

Мы спускаемся в мшистое, сырое, темное и холодное ущелье. Оно круто и ухабисто падает вниз. Отцы цепляются руками за мокрые камни, скользят на сгнившей хвое и склизких бревнах. Кое-где нам приходится спрыгивать с невысоких обрывчиков. Отцы снизу страхуют девочек. Маша меня сегодня просто не замечает.

Я иду последним и думаю об этом. Мне уже не стыдно за вчерашнее, и мне не больно от Машиного невнимания, а может, и от открытой неприязни. Мне кажется, что в душе я заложил Машу кирпичами, как окно в стене. В душе лишь легкий сквозняк от новой дыры где-то в районе сердца — оттуда, откуда я наломал кирпичи.

Впереди и внизу мелькает Чебыкин.

— Иди сюда, козел! — злобно орет Градусов.

— Отжимайся! — советует Чебыкин и с хохотом убегает за уступ.

Наконец мы выходим на ровную, голую площадку. Над нею в стене треугольная дыра пещеры. Отцы взбираются ко входу и заглядывают.

— Там обрыв, — говорит Овечкин.

— А как же Чебыкин спустился? — удивляется Люська.

— Бу-бу-бу-бу! — жизнерадостно доносится пояснение из пещеры.

— Ага, — скептически соглашается Борман. — Не все же такие макаки.

— У нас в деревне один мальчик лазил-лазил по скалам, упал и разбился, — говорит Тютин.

— У вас в деревне живые-то хоть остались? — интересуется Маша.

— Знаете, куда Чеба залез? — спрашиваю я. — В древности эта пещера была...

— ... сортиром, — подсказывает Градусов и ржет.

— ... святилищем, и здесь, на площадке, стояли

идолы.

— Каким святилищем? — удивляется Люська. — Разве здесь кто-то жил?

— Здесь жили великие народы, о которых человечество давно уже забыло. Здесь были крепости, каналы, капища. Были князья, жрецы, звездочеты, поэты. Шли войны, штурмами брали города, могучие племена насмерть дрались среди скал. Все было. И прошло...

Отцы слушают меня непривычно внимательно. На уроках в школе я такого не встречал. По их глазам я вижу, что они ощущают. Они, конечно, как и я, у Чертова Пальца тоже почувствовали незримый и неизъяснимый взгляд. И вот теперь у них под ногами словно земля заговорила. До самых недр, до погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью, историей. Эта одухотворенность дышит из нее к небу и пронизает тела, как радиация земли Чернобыля. Тайга и скалы вдруг перестали быть безымянной, дикой глухоманью, в которой тонут убогие деревушки и эковские лагеря. Тайга и скалы вдруг стали чем-то важным в жизни, важнее и нужнее многого, если не всего.

— Географ, говори погромче!.. — слышится крик Чебыкина.

— Лучше вылезай! — кричит Борман.

— Фигушки, вы драться будете... Географ, погромче!..

— Археологи проводили здесь раскопки, — рассказываю я, что читал и слышал про Семичеловечью, — нашли множество костей жертвенных животных и наконечники стрел...

— Ты, что ли, мослы растерял, Жертва? — Градусов пихает Тютину.

— Нашел! Нашел! — возбужденно орет из недр пещеры Чебыкин. — Наконечник стрелы нашел!..

Отцы взволнованно заметались перед пещерой.

— Вылезай, урод! — кричит Градусов. — Не тронем, слово пацана!

Через некоторое время Чебыкин вылезает и протягивает мне продолговатый камень. Отцы благоговейно смотрят на камень, трогают кончиками пальцев. Камень — обычный обломок.

— Что это? Стела? Копье? — сияя, спрашивает Чебыкин.

— Кусок окаменевшего дерьма мамонта, — говорю я.

Отцы хохочут. Чебыкин сконфуженно прячет камень в карман.

— Для вас, бивней, может, и дерьмо... — независимо говорит он.

Мы уходим обратно, вверх по ущелью. Я иду



последним. Пацаны учесали вперед и забыли про девочек. Когда я хочу посадить Машу она оборачивается и взглядом отодвигает меня.

— Не надо! — зло говорит она и, помолчав, добавляет: — Я вообще не хочу, чтобы вы ко мне прикасались!

Потрескав, мы собираем вещи, чтобы отплывать. Борман потихоньку берет у меня консультации. А Маша меня не замечает. Она это делает не демонстративно, что само по себе означает какое-то внимание. Она не замечает меня, как человек не замечает развязавшийся шнурок. Но я спокоен. Я знаю, что Маша — моя. Я только не знаю, что мне с ней делать. В своей судьбе я не вижу для нее места. От этого мне горько. Я ее люблю. И я тяжелой болью рад, что сейчас мы в походе. Поход — это как заповедник судьбы. Собирая у палатки рюкзак, я слышу, как Маша разговаривает с Овечкиным. Они в палатке вдвоем. Им кажется, что стены отделяют их от мира. Но это не стены — это тонкое полотно, не способное скрыть даже тихий голос. И от мира никогда никого ничего не отделяет.

— Ты сегодня непонятная... — осторожно говорит Овечкин.

— Я нормальная, — твердо отвечает Маша. — Убери руки.

— Это из-за Географа?

— Не твое дело.

— А как же я? — после молчания, наконец спрашивает Овечкин.

— Решай сам.

Мне жаль Овечкина. У Маши слишком крепкий характер. Другая песня — Люська. Когда мы спустились с Семичеловечьей, она грохнулась на склоне, а потом начала ныть и проситься на руки.

— Ты чего развонялась, Митрофанова? — не выдержал Градусов.

— Да что, больно же...

— Подумаешь, коленку разбила. Не башку же.

— Ага, тебе, Градусов, только и хочется, чтобы я башку разбила...

— Хотелось бы — сам бы и разбил, — отрезал Градусов.

— Тоже мне, парни называются... — обиделась Люська.

— Ладно, давай донесу, — согласился Борман.

— Давай, и донесет! — озверел Градусов и тотчас получил от Люськи такой подзатыльник, что быстро побежал вниз, махая руками.

Борман усадил Люську на закорки и, покряхтывая, потащил к лагерю. Благо, что до него было метров двести.

— Градусов, ты сегодня дежурный, — на обеде

напоминает Борман.

— Иди котлы мой, — поддакивает Люська, увинаясь вокруг Бормана.

— Одному запаadlo! — рычит Градусов. — Пусть и Географ чешет!

— Он за тебя в завтрак дежурил, а ты спал.

— Меня не колышит! Будить надо было! И вообще, Борман мне не начальник! Я был против него!

— А его большинство выбрало, значит — он командир.

— Пусть большинство тогда и моет котлы... А ты чего раскомандовалась, если он командир? Сильно невтерпеж — так команду своим Борманом, а не мной, поняла, Митрофанова?

— Почему это Борман мой? — опешивает Люська.

— Он же тебя на горбу таскает, как мешок с дерьмом...

— Ну и пусть я в него влюбилась! — злится Люська. — А тебе завидно, потому что ты рыжий и нос у тебя вот такой! — Люська широко разводит руки.

— Было бы чему завидовать! — яростно кричит Градусов и хватается котлы. — Да пускай, нафиг, он тебя любит — дерьма не жалко!

Демон пугается, видя такую битву вокруг Люськи. Он пытается всунуться, но никто его не замечает. Тогда ленивый Демон в отчаянии решает на подвиг. После обеда он рапортует Люське, что привязал ее рюкзак на катамаран.

— Ой, спасибо!.. — мимоходом радуется Люська и тотчас кричит: — Борман, а чо Градусов грязью кидается!..

Градусов ходит злой, ко всем придирается, пинает вещи. В конце концов перед отправлением оказывается, что только он еще и не готов. Он носится по поляне и орет:

— Борман, где мой рюкзак? Я его самый первый собрал!

— Вон твой рюкзак, — спокойно кивает Борман в кусты.

Градусов выволакивает рюкзак и брезгливо кидает его на землю.

— Это вообще какой-то чуханский, а не мой!..

— Это мой... — тихо пищит Люська.

Демон беспомощно улыбается и пожимает плечами.

С грехом пополам мы выплываем.

Вновь нас несет желтая, пьяная вода Поньша. Вновь летят мимо затопленные ельники. Низкие облака нестройно тащатся над тайгой. Длинные промоины огненно-синего неба ползут вдали. На дальних высоких увалах, куда падает солнечный свет, лес зажигается ярким, мощным малахитом.



На склонах горных отрогов издалека белеют затонувшие в лесах утесы. Приземистые, крепко сбитые каменные глыбы изредка выламываются из чащи к реке, как звери на водопой. Вода несет нас, бегут мимо берега, и линия, разделяющая небо и землю, то нервно дрожит на остриях елей, то полоγο вздымается и опускается мягкими волнами гор — словно спокойное дыхание земли.

Под вечер у берегов начинают встречаться поваленные ледоходом деревья. Я тревожусь. Такие «расчестки», упавшие поперек реки, могут запросто продрать наши гондолы. Впереди я вижу длинную сосну, треугольной аркой перекинувшуюся над потоком. Достаточно порыва ветра, чтобы сосна рухнула вниз и перегородила дорогу, как шлагбаум. Я встаю на катамаране во весь рост и гляжу вперед. Я вижу одну, две, три, еще сколько-то елей, рухнувших в воду. Дело худо. Мы проплываем под сосной, как под балкой ворот. Ворота эти ведут в царство валежника.

Катамаран обходит одну «расчестку», потом, чиркнув бортом, другую. Борман командует толково, без нервов. Но третью «расчестку» мы зацепляем кормой. Градусов сражается с еловыми лапами и выдергивается из них красный, лохматый, весь исцарапанный.

— Бивень! — орет он на Бормана. — Сообрази, куда командуешь!

И тотчас нас волочит на другую елку.

— Падайте лицом вниз и вперед! — кричу я.

Экипаж, как мусульмане в намаз, падает лицом вниз. Мы влетаем под елку. Сучья скребут по затылкам, по спинам, рвут тент, прикрывающий наше барахло. За шиворот сыплется сухая хвоя, древесная труха. Поньш свирепо выволакивает нас по другую сторону ствола.

— Ата-с! — вдруг истошно вопит Чебыкин.

Мы налетаем бортом теперь уже на березовую «расчестку».

— Упирайтесь в нее веслами! — ору я.

Сила течения так велика, что весла едва не вышибает из рук. Круша бортом сучья, мы врубаемся в крону. Я вцепляюсь в раму и ногами принимаю удар ствола. Я изо всех сил отжимаюсь от него, чтобы нас не проволокло под «расчесткой». Она лежит слишком низко и попросту сгребет нас всех в воду, как ножом бульдозера. Поньш от нашего сопротивления словно приходит в бешенство. Целый вал вмиг вырастает, бурля, вдоль левого борта. Левая гондола всплывает на нем. Мы кренимся на правую сторону, и вал все же вдавливают нас под березу.

— Тютин, Маша, живо на левый борт! — ко-

мандую я. — Всем застегнуть спасжилеты! Овечкин, руби сучья снизу!

Серой тенью мимо меня по стволу пролетает Овечкин с топором. Он седлает ствол и начинает яростно рубить его перед собой.

— Овчин, назад!.. — надрываюсь я.

Овечкин молчит. Лицо его побелело. На лбу помужицки вздулись вены. Топор носится вверх и вниз. Щепки клюют меня.

Оглушительный треск, хруст, плеск — это отсеченный ствол, обнимая катамаран всеми ветвями, рушится в воду. Фонтан брызг окатывает нас с Градусовым. Освободившись, катамаран резко идет вперед. Мгновение я вижу Овечкина, сидящего верхом на обрубленном стволе, который остается сзади. А еще через мгновение Овечкин, как летучая мышь, прыгает на уходящий катамаран и падает грудью на корму. Мы с Градусовым волочим его из воды. Чебыкин спихивает березу с нашего борта. Растопырившись, она отплывает в сторону. Поньш несет нас дальше — свободных и очумелых.

— Ты что, охренел? — орет на Овечкина Градусов. — Ты, что ли, Буратино, который не тонет?!

Маша смотрит на Овечкина потемневшими, серьезными глазами.

— Он ведь спас нас!.. — потрясенно говорит Люська.

— Еще «расчестка»! — через десять минут кричит Борман.

Теперь, перегородив реку, в русле лежит кряжистая, разлапистая сосна. Вода клокочет в ее ветвях, волны в пене перескакивают через ствол, возле которого кувыркается и толчется разный плавающий мусор. Эту «расчестку» мы можем преодолеть, только волоком перетащив свой катамаран через прибрежный тальник.

— Левый борт, загребай! — командуя я.

Мы прочно увязаем в кустах. Мы подтягиваемся за ветки изо всех сил, но катамаран не лезет дальше. Я меряю веслом глубину.

— Чего зырите? — зло кричу я отцам. — Снимай штаны, будем толкать.

Борман безропотно начинает стягивать сапоги.

— Нам тоже? — оборачиваясь, спрашивает Маша.

— Куда вам, блин! — орет Градусов. — Сидите, не рыпайтесь!

В свитерах, трусах и сапогах мы соскальзываем в воду и беремся за каркас. Холод, как вампир, впивается в тело. Глубина тут — чуть повыше колен.



— Ты-то куда лезешь? — орет Градусов на Тютина. — Помощник, блин, пять кило вместе с койкой!..

— Р-раз!.. — команду я. — Р-раз!.. И-эх!..

Всемером мы волочим катамаран по зарослям мимо упавшей сосны. Катамаран тяжеленный, какдохлый слон. Голые прутья тальника царапают ноги. Мы скользим по корням. Чебыкин и Борман дружно падают, но поднимаются и молча тянут дальше.

— Так же свои струги тащили ватажники Ермака... — хриплю я.

Наконец можно забраться и наверх. Трясаясь, отцы натягивают штаны прямо на мокрые трусы. Синий Градусов орет:

— Митрофанова! Доставай мне флакон и сухие рейтузы!

— Откуда? — пугается Люська.

— Ща как скажу, откуда... Сидишь-то на моем рюкзаке!

Люська, путаясь руками, развязывает Градусовский рюкзак. Она достает какие-то веревки, мотки проволоки, банки, свечи, маленькие механизмы непонятого назначения, и все это с ужасом передает Маше. Наконец на свет появляются огромные зеленые семейники и бутылка водки. Я зубами распечатаваю ее, пью из горлышка и пускаю по кругу. На мой озноб словно бы льется горячая вода.

— Впереди ледовый завал, — убито говорит Борман. Мы вытягиваем шеи. Поперек реки лежит елка, а к ней прибило целую гору льда. Его сколы и грани искрятся на солнце — оказывается, тучи уже разошлись. И справа, и слева — непролазный затопленный ельник. Ни проехать, ни пройти. Затоп.

— Что же делать? — растерянно спрашивает Борман.

— Отжиматься, — говорит Градусов. — Конец фильма.

Чтобы найти поляну для ночевки, мы сворачиваем в затопленную просеку. Здесь — черная тишина и покой. Гул Поныша гаснет. Мы медленно плывем между двумя стенами елей. Под нами видны размытые колеи. В чистой воде неподвижно висят шишки. Лес отражается сам в себе. Ощущение земной тверди теряется. Вдали, за еловыми острями и лапами стынет широкая, ярко-розовая заря.

Поляну мы нашли не очень удобную — маленькую, неровную, кособокую. Однако выбирать не из чего. Воды Поныша причудливыми узорами растеклись по лесу, оставив от суши небольшие островки, соединенные гривками. Мы устало возимся с лагерем, рубим дрова, разжигаем костер.

Потом я предлагаю желающим пойти за березовым соком.

— Блин, точно! — схватывается Чебыкин и бросается искать посуду.

— Тебе принести сока? — негромко спрашивает Машу Овечкин.

— Я тоже хочу! — ноет Люська. — Демон, принеси мне соку...

— Ой, да ну тебя! — пугается Демон, неподвижно лежащий на земле с сигаретой в зубах. — Маленькая, что ли?

— Дак чо, хочется...

— Принесу я тебе, не стони, — утешает Люську Чебыкин, весь увешанный кружками и банками.

— Ладно-ладно, Демон, я запомнила, — обидчиво говорит Люська.

Втроем — я, Чебыкин и Овечкин — мы идем вглубь леса, вброд по протокам. Некрутой склон старого отрога весь освещен закатом. Он сух, бесснежен, покрыт прошлогодней травой. Вперемешку с черными елями стоят еще прозрачные по весне березы с голубоватыми кронами и розовыми стволами. От этого склон издали кажется пестрым, как домотканый половичок. Над ним из синевы вытает бледная Луна.

Чебыкин, захваченный новой идеей, с ножом наперевес убегает вперед. Он, как колокольчики коровам, подвязывает березам свои кружки и банки, лижет свежие надрезы, чмокает и ахает. Я делаю неглубокую зарубку и на шнурке подвешиваю кружку. Нежно-восковая древесина с неяркими жемчужными дугами годовых колец сразу набухает прозрачными каплями. Я чувствую запах березового сока — тонкий, предутренний, росный. Овечкин молча и отрешенно стоит невдалеке.

— Овечкин, — окликаю я. — Знаешь, что хочу тебе сказать... Маша — это не Люся Митрофанова. Ей не нужны подвиги. А мне не нужна тюрьма. А тебе не нужен уютный гробик.

Овечкин не отвечает, глядя в сторону. Я закуриваю.

— Да я понимаю, Виктор Сергеевич, — наконец говорит Овечкин.

Чебыкин на склоне мелькает между стволов. Он все бежит от кружки к кружке, изумляясь этому тихому, незамысловатому чуду весны — березовому соку.

Мы возвращаемся в глубоких сумерках. Мы шагаем по озерам через блещущие, прозрачные и яркие вертикали ночной тьмы. В кружках, которые мы бережно несем на весу — светящаяся вода. Над просекой, как зеленая карета, катится Луна.

Борман ножовкой пилит бревнышки, чтобы мож-



но было сесть вокруг костра. Градусов варит ядреную гречневую кашу с тушенкой. Маша и Люська держат над костром весла, на металлических лопастях которых сушатся подмокшие буханки. Весла похожи на опахала, а костер — на высокую чалму султана, усыпанную рубинами.

— Эх, водки бы сейчас было эротично... — над кашей мечтательно вздыхает Чебыкин.

— Дэзыл, — соглашается Борман.

Мы выпиваем водки. Хмель легко пробирается в голову и словно окутывает тело тонкой, горячей тканью. Острее ощущается холод, но от него никто уже не мерзнет. Все ухайдакались за день, все усталые, все молчат. Но молчание у огня объединяет нас прочнее, чем все развеселые базары. Я знаю, что означает это молчание. Оно обозначает север, ночь, половодье, затерянность в тайге. Оно обозначает наше общее одиночество. Оно обозначает грозную неизвестность, ожидающую нас у ледового затора на Поньше.

Немногословно расходимся после ужина. Я ухажу побродить глубоко в лес, закуриваю. Лес — словно дворец без свечей, с высокими сводами, с отшлифованным до блеска паркетом. Ощетинившееся звездами небо закрыто еловыми вершинами. Оно просеивается вниз полярным, голубоватым светом. Я стою и слушаю, как в полной тишине беззвучно течет время, текут реки, течет кровь в моих жилах. Огонек моей сигареты — единственная искра тепла во вселенной.

Когда я возвращаюсь, навстречу мне попадается Маша. Я очень ясно вижу ее в темноте. Мы молча глядим друг на друга. Я помню ее слова: не прикасайся! Мы осторожно обходим друг друга и расходимся. Но сделав пару шагов, я останавливаюсь и оборачиваюсь. Маша тоже стоит и смотрит на меня.

— Иди ко мне, — наконец зову я.

Маша медлит, а потом идет ко мне. Я чувствую, что словно бы лед скользит под моими ногами, и я проваливаюсь в любовь, как в полынью. Я обнимаю Машу и целую ее. В холоде вселенной, где погас последний уголек моей сигареты, я чувствую

тепло Машиного тела под одеждой, тепло ее волос, ее губ. Я расстегиваю ремень ее джинсов и оголяю ее бедра — такие неожиданно горячие. Я тяну Машу вниз, и она поддается. Я чувствую, что сейчас возьму ее — прямо на сырой земле, в воде, на дне морском. Но Маша вдруг легко уходит из моих рук и поднимается, отстраняясь.

— Нет, — устало говорит она. — Нет. Никогда.

Она отворачивается и, застегиваясь на ходу, идет в лес. Мир качается в моих глазах, как корабль. Качаются огромные колокола елей, и звезды — как искры отзвеневшего набата. Я иду к костру.

Никого нет. Я достаю недопитую бутылку. Я пью водку. Зеленая карета катится над черной просекой. Она катится над старыми горами, которые осели и рассыпались, обнажив утесы — так истлевает плоть, обнажая кости. Карета катится над волшебною тайгой, сквозь которую пробираются темные, холодные реки. В небе одно на другое громоздятся созвездия. Я гляжу на них. У меня есть собственные созвездия, мои. Вот они — Чудские Копи, Югорский Истукан, Посох Стефана, Вагульское копьё, Золотая Баба, Ермаковы Струги, Чердынский Кремль... Целый год я не видел их такими яркими.

Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила... А на что я эту силу потратил? Я уж скоро лысым стану, можно и бабки подбивать. И вот я стою под этими созвездиями с пустыми руками, с дырявыми карманами. Ни истины, ни подвига, ни женщины, ни друга, ни гроша. Ни стыда, ни совести. Ну как же можно так жить? Неудачник... Дай бог мне никому не быть залогом его счастья. Дай бог мне никого не иметь залогом своего счастья. И еще, дай бог мне любить людей и быть любимым ими. Иного примирения на Земле я не вижу.

Я допиваю водку у погасшего костра и тоже иду в палатку. Там темно, но я вижу, что во сне, выпростав руку из спальника, Овечкин обнимает Машу.

Окончание следует.

АНОНС!

В следующем номере журнала читайте:

- повесть Юрия Уральского «Скорпион», о талантливых мастеровых Каменного пояса;
- новый очерк Юния Горбунова из цикла "Женщины Древней Руси";
- путевой очерк Риммы Печуркиной о древнейшей уральской дороге Артемия Бабинова;
- документальная повесть Юрия Шинкаренко "Светлая пряжа", размышления о Семье и Роде;
- первая публикация юного поэта из г. Полевского двенадцатилетней Евгении Фарненковой.



Валерий ПРИВАЛИХИН

МОЛИТВА ПАНИ ЯДВИГИ

1.

— Придется тебе, Олег, слетать в командировку. — Мужчина среднего возраста, одетый по-домашнему, отодвинул от себя журнальный столик, поднялся с кресла. Сделал несколько шагов по просторной, богато убранной гостиной с камином и опять погрузился в кресло. — В Сибирь, — добавил, глядя на собеседника, высокого красивого парня лет двадцати трех с чуть рыжеватыми волнистыми волосами.

— Что там? — спросил Олег, подходя к столику. Столик был завален ворохом газетных вырезок, присланных из агентства газетно-журнальной информации.

— Читай. Достаточно отчеркнутого карандашом. — Хозяин гостиной взял лежавшую отдельно от бумажного завала узкую и длинную газетную полоску, протянул Олегу.

«Был и такой случай. Весной сорокового года с открытием навигации привезли к нам в район на двух баржах поляков. В СССР они попали, спасаясь от Гитлера, когда тот захватил Польшу. Разные это были люди. Бедные и богатые. Крестьяне и аристократы. У одних в карманах пусто и одеты плохо, другие — во всем модном и с чемоданами, полными денег.

Всех без разбора взрослых определили на лесоповал. Работа — за питание, жизнь — в тайге, в бараках. Те, кто никогда не держал в руках пилы и топора, но имел средства, стали нанимать бедных делать их нормы. Но длилось так недолго. Начальство узнало, запретило наемный труд. Поляки в ответ взбунтовались, прекратили работу. Из области прибыли сотрудники НКВД. Зачинщиков и всех, кто имел не рабоче-крестьянское проис-

хождение, погрузили опять на баржи и увезли неизвестно куда. Говорили, на самый север области, в Приполярье. Больше о них сведений не было...».

Подчеркнутый карандашом текст заканчивался, и читать дальше Олег не стал.

— Ну, и зачем ехать? — спросил равнодушно.

— Обратил внимание на место действия?

— Конечно.

— Очень нужно было гэбистам возить из одной глухой тайги в другую чужеродных белоручек?

— Шлепнули?

— Именно.

— Ну ведь написано, что опять в баржу погрузили...

— Слухи распустили, Олежек, слухи.

— Пусть по-вашему. Дальше?

— Дальше? Ты же знаешь нравы толстолобиков из НКВД. Если что-то и брали у подопечных — малоценное, чисто утилитарного назначения.

— Хорошо. Когда ехать?

— Не откладывай. Святковский, кажется, владеет польским?

— Свободно, — подтвердил Олег.

— С ним и Саженовым полетишь. Документы я подготовлю.

Хозяин сгреб ворох газетных вырезок, прошел к камину и бросил в топку. Глядя на скоротечное пламя, сказал:

— С автором заметки встречаться не нужно. Свое расследование проведите. Разыщите старожиллов, очевидцев.

— Ясно...

2.

— К вам, Александр Иванович. Кажется, те самые поляки, — сказала секретарша, появившись на пороге

кабинета директора отдаленного сибирского леспромхоза «Лататский».

— А, зови, зови, — живо откликнулся директор. — И позвони в столовую. Пусть там что-нибудь соберут. Поприличнее, сама понимаешь...

Секретарша кивнула и вышла. Директор в оставшиеся секунды поправил узел галстука, провел по волосам расческой. Пепельница была полна окурков. Быстрым точным движением он вытряхнул содержимое в урну. Хотел еще собрать в стопку деловые бумаги на столе, однако не успел: в кабинет уже входили трое рослых молодых людей.

— Олег Остапенко, член зарубежной секции общества «Мемориал», — отрекомендовался один из троих, парень с рыжеватыми волнистыми волосами.

— Никитин, — назвался директор. — Очень приятно видеть вас в наших краях...

— Юрий Саженов, корреспондент пресс-клуба «Мемориала», и Мечислав Святковский, наш гость из Польши, — представил директору своих спутников Остапенко.

— Да-да, мне о вас звонили дважды. — Директор помолчал. В доказательство своей осведомленности прибавил: — Вы — студент Краковского университета и председатель комитета «Вольная Польша»?

— Так, — подтвердил Остапенко.

— Мой отец был ранен как раз на подступах к Кракову, — сказал директор. — Так что не совсем чужая для меня страна. Переведите студенту.

— Не нужно, — с едва уловимым акцентом сказал Святковский. — Я знаю русский, пан директор. Для меня Сибирь тоже не совсем чужая страна.

— У Мечислава родственники погибли в этих местах. Полвека назад, —



объяснил Остапенко.

— Да, тут до войны и в войну жили поляки. На кордоне Сушняки, — подтвердил директор. — Я, правда, мало знаю об этом, только по газете.

— А кто знает хорошо? — спросил Остапенко.

— Игнатъев, технорук наш. Он и рассказывал о поляках журналисту из области. Вы садитесь, я сейчас приглашу Игнатъева. — Директор взялся за телефонную трубку.

— Секунду, — включился в разговор корреспондент пресс-клуба «Мемориала». — Технорук был очевидцем?

— Какой очевидец! Ему пятидесяти еще нет.

— Тогда не нужно. Он все рассказал. — Из «дипломата» Саженов извлек темно-коричневую папку, кожаную обложку которой украсили вытисненные золотом надписи на русском и польском языках: название комитета — «Вольная Польша» — и ниже двуглавый орел. В папке были две аккуратно подклеенные вырезки из газет.

— Вот статья в вашей областной газете и ее перевод в варшавском «Вечере».

— Интересно. — Директор подержал папку, разглядывая статью на чужом языке. — Даже перевели.

— Да. Наша цель — тоже написать об этом. Но более подробно, — сказал Остапенко. — С кем другим еще можно поговорить о поляках?

— Лесопунктовские старожилы в Сушняках должны помнить. Бараки стояли около Сушняков.

— Сушняки — это далеко?

— Пятьдесят километров по узкоколейке.

— А когда можно туда уехать?

— Да как захотите. Хоть сегодня. Сейчас пообедаем, и можно ехать. Я провожу...

Молодой поляк после этих слов директора заговорил на родном языке, обращаясь к Саженову.

— Мечислав сказал, что ему было бы неприятно обидеть вас, — перевел Саженов, — но он опасается, что, если мы приедем в Сушняки в сопровождении начальства, люди не так свободно будут чувствовать себя, искренне разговора может не получиться.

— Хорошо, как вам удобнее, —

пожал плечами Никитин.

— Но это без обиды?

— Конечно. Пообедать со мной, надеюсь, не откажетесь?

— Спасибо, пан директор, — Мечислав улыбнулся. — С удовольствием.

3.

— Да читал я ее, — отмахнулся от газеты старик-вдовец Григорьев, в прошлом лесоруб. Он был четвертым из сушняковских старожилов, в избу которого вошли приехавшие издалека в глухую таежную деревеньку гости. — В ней про поляков половина пропущено, а половина — неправда.

— Как так? — спросил Остапенко.

— Так. Не весной их привезли, а летом. Шиповник вовсю цвел. Из области никто из сотрудников НКВД не приезжал. Они еще уехать не успели, когда это случилось.

— Что случилось?

— Ну, забастовка на узкоколейке или как хочешь называя. Один из поляков, лысоватый, шуплый такой и с золотыми фиксами, Вацлавом звали, поднялся на пустую платформу: «Мы, — говорит, — не пленные, а беженцы из другой страны. Не обязаны подчиняться всем законам вашего государства. А с нами как с рабами, как с быдлом обращаются». После этого поляки бросили работу, пришли в Сушняки.

— Вы были очевидцем? — спросил Мечислав.

— Да там вся деревня была.

— А что сотрудники из органов?

— Не вмешивались. Их мало было.

Вызвали подмогу из зональной комендатуры и наблюдали.

— А дальше?

— Дальше... — Григорьев сделал глубокую затяжку папиросом, выдохнул: — Дальше расстреляли их всех. В Староармачевском бору.

— Это точно?

— Куда точнее. — Григорьев не весело усмехнулся. — На глазах у отца. Он лесным объездчиком был. Как раз в это время по бору проезжал. Ясное дело, его не видели...

— И вы можете показать, где именно расстреливали? — спросил Мечислав.

— Конечно. Мы в том же году осенью зарубки на корню пихт сдела-

ли. На случай, если срубят деревья. Да и без зарубок всегда помнил.

— Проехать туда можно? — спросил Остапенко.

— Нет. Только пешком, — ответил старый вальщик.

— А сколько дней туда добираться?

— Дней? — удивленно переспросил Григорьев. — Помоложе был, так часа за два доходил. Сейчас еще полчаса накинь.

— Сходим завтра? — попросил Остапенко.

— Пожалуйста, я тоже очень прошу. — Мечислав приложил руку к груди.

— Какой разговор, конечно. Только, — пожилой лесоруб глянул на обувь гостей издалека, — сапоги нужны.

— Будут, — заверил Остапенко, вставая.

...Солнце еще не успело как следует подняться над тайгой, трава едва просохла от росы, а они шагали уже по Староармачевскому елово-пихтовому бору.

— Здесь, — сказал Григорьев, оттаптываясь около вековой пихты со смолистыми подтеками на стволе. — А вон до туда тянулась Кривая балка, — показал рукой на другую старую пихту шагах в двадцати.

Между двумя деревьями, на которые указал провожатый, было довольно ровное пространство, усыпанное хвойной иголкой.

— Хотите сказать, именно здесь расстреляли беженцев? — спросил недоверчиво Остапенко.

— Тут, — подтвердил вальщик. — Ты как раз на могиле стоишь.

Остапенко невольно попятился, подхватив скинутый с плеч рюкзак. Григорьев наклонился около пихты, постучал ногтем по мощному, выпирающему наружу корневищу: дескать, зарубка. Потом, взяв подвернувшуюся под руку валежину, прошел от дерева к дереву, чертя концом валежины зигзагообразную линию в настиле из слежавшихся хвойных иголок.

— Так вот балка проходила, пока не засыпали.

— И сколько здесь человек лежит? — спросил Мечислав.

— Да поболее ста, подика...

Все четверо надолго умолкли.



Лишь громкое кукованье кукушки да гудение комаров слышались в тишине бора.

— Что ж мы ни топора, ни лопаты с собой не взяли, — первым заговорил Мечислав. — Нужно отметить как-то могилу, крест поставить.

— Да, — поддержал поляка Сажнев. — Нехорошо как-то будет: просто постоять и уйти.

— Лопату найти можно, — сказал Григорьев. — Избушка недалеко, — махнул он рукой, указывая направление.

— А топор?

— В Сушняках только. Сходить могу, если надо.

— Очень надо. Сходим? — попросил Мечислав.

— Да я один...

— Нет-нет, я с вами, — с настойчивостью в голосе сказал Остапенко.

— Часам к семи успеете вернуться? — спросил Сажнев.

— Да ну, к семи. Раньше, — заверил Григорьев.

...Раньше не получилось. Они возвратились, принеся с собой топоры, рубанок и лопату, около восьми вечера. Поляк и Сажнев праздно сидели на бревнышке. Дымивший рядом небольшой костерок отпугивал гнус.

— Ух ты! — невольно вырвалось у Григорьева: пространство между двумя пихтами, там, где некогда пролежала Кривая балка, было аккуратно выложено полосой свежего дерна шириной метров в пять. — А мы... Олег на обратном пути ногу подвернул. Плелись.

— Нормально, — сказал поляк, беря из рук Григорьева топор. Срубил пихту, очевидно, заранее намеченную, отделил вершинную часть. По всей поверхности довольно толстого и длинного бревнышка сделал одинаковой глубины засечки. Под легкими умелыми ударами топора кора, как чешуя, сползла на землю. Забелела ровная стесанная поверхность. Бревнышко быстро превратилось в четырехгранник, настолько ровный, что не было нужды прикасаться к нему рубанком. То же самое поляк проделал еще с одним бревнышком, длиной поменьше.

В считанные полчаса латинский крест был готов. Старый лесоруб толь-

ко изумленно глядел на поляка.

— У Мечислава дед плотником был, — пояснил Остапенко.

— Да-да, — закивал Мечислав.

Он не разрешил себе помочь, сам вырыл ямку между двумя старыми пихтами у кромки полоски из дерна. Позвал, лишь когда нужно было поднять, вкопать в землю крест. Высокий, свежеработанный крест сразу броско забелел среди предзакатной хвойной зелени Староармачевского бора.

Поляк недолго постоял около креста, вынул было из кармана ручку, желая, видимо, что-то написать, но передумал, побрел прочь от братской могилы. Остальные следом.

— Эх, тут еще на краю бора морячки наши лежат. С торговых судов. Пятьсот с лишним человек. В сорок втором за одну зиму на лесоповале все перемерли, — сказал с тоской в голосе Григорьев.

Он обернулся. Белый большой крест еще не скрылся из виду. Закатный солнечный луч лежал на нем...

4.

Ранним утром гости покидали Сушняки.

На полпути к узкоколейке их окликнула пожилая женщина. Подошла, прижимая к груди какую-то небольшую, завернутую в тряпицу вещь.

— Вы из Польши? — безошибочно обратилась она к Святковскому.

— Полек, — кивнул утвердительно Мечислав.

— Это вам. Возьмите. — Женщина протянула сверточек.

— Что это? — спросил Мечислав. Под легкой оберткой-косынкой была пухлая, небольшого формата книжечка. Тонкая серебряная инкрустированная пластинка скрывала обложку.

— Библия, — сказала женщина. — Библия пани Ядвиги. Забыла ее фамилию. Она жила у нас недолго. Помню, как молилась. Открывала эту Библию и часами молилась и плакала. Мама утешала ее, говорила, что все уладится, и она вернется на родину. Пани Ядвига соглашалась, но тут же говорила, что уже никогда хорошо не будет, ей отсюда живой не вырваться, у нее такое предчувствие, что ее и после

смерти не оставят в покое. И она лишь молит Бога о легкой смерти и о покое после смерти.

— Странная какая-то молитва, — пробормотал Мечислав. Лицо его слегка побледнело.

— Мама то же говорила ей. Но пани все равно молилась об одном. Молодая, очень красивая богатая женщина. И очень несчастная. А вы прямо сейчас уезжаете?

— Да...

5.

— Ну что, Олежек, так и оказалось — слухи? — Мужчина, одетый по-домашнему, поворошил кочергой в камине горящие угли и сел в кресло.

— Слухи, — сказал Олег, кладя на журнальный столик два мешочка. — В этом, кивнул на тот, что побольше, — зубное золото, коронки. Девятьсот двенадцать граммов. В другом — разные мелкие цапки. Шестьсот восемьдесят пять граммов. Вместе с камнями.

До мешочка побольше мужчина не дотронулся. Содержимое меньшего высыпал на столик. Нательные крестики с цепочками, обручальные кольца, броши, серьги сверкнули на темной полировке.

Из всех вещей мужчина взял в руки и поднес к глазам, рассматривая, одну — перстенок.

— С бриллиантом. Недурно, недурно.

— Даже не верится, что все это полвека пролежало в земле, — заметил Олег.

Мужчина чуть поморщился: упоминание о том, откуда драгоценности, было ему неприятно. Чтобы скорее свернуть свидание, он встал, из ящика мебелильной стенки вынул пачку десятитысячерублевков. Подумал, прибавил еще одну — пятитысячными.

— Надеюсь, нигде не засветились? — спросил.

— Нет, но теперь придется писать газетный материал. Они ждуть будут.

— Так сделайте. Переведите на польский, пошлите вырезку. Сам знаешь, как делается. Но не сейчас. По холодам, по снегу.

— Да. Я тоже так думал...



Сергей БЕЛОБОРОДОВ

ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ

(Пути-дороги русского дипломата XVII века)

Главным внешнеполитическим ведомством России был когда-то Посольский приказ. Кроме его начальника, как правило, думного дьяка, и его заместителей (дьяков), в нем трудились переводчики — люди высокообразованные, зачастую, выходцы из Европы. Они переводили документы на иностранные языки. Ступенью ниже стояли толмачи — устные переводчики. А основной штат Посольского приказа составляли подьячие — представители особого служилого сословия. Кроме обычной бумажной работы, они выполняли функции дикпурьеров, секретарей посольств, а иногда и посланников. Многие из них, особенно в XVII веке, в той или иной степени были связаны с литературой и книжностью. Соответственно опыту, выслуге лет или особым заслугам, были подьячие «старые», «средней стажи» и «молодые».

В России в ту пору не доставало специалистов по международным делам. А потому работа любого подьячего в Посольском приказе — это причудливое переплетение событий, путешествий и приключений. Не была исключением и судьба Н. Д. Венюкова, хотя сведений о нем сохранилось очень немного.

Имя Никифора Даниловича Венюкова упоминается в документах Посольского приказа начиная с 1671 года, но он уже не был новичком в приказном деле. Вероятно, показал себя в одном из центральных московских приказов. В 1672 году молодого подьячего определили «в помощь» к В. А. Даудову в посольстве к турецкому султану.

Борьба с Турцией была тогда важнейшим вопросом внешней политики Русского государства. Турки, захватив Каменец-Подольск, вынудили Речь Посполитую заключить мирный договор. Малоросский гетман Дорошенко перешел в подданство Турции. От России добивались отказа от Украины и нейтралитета к агрессии на Кавказе. Русское же правительство требовало от турок прекратить захватническую политику. Однако Высокая порта вместе с войсками Дорошенко интенсивно готовились к войне.

И вот в мае 1672 года в Константинополь отправились гонцами В. Даудов* и Н. Венюков с грамотой к султану о заключении договоров о дружбе России с Польшей и Крымом и с предложением Турции присоединиться к этим мирным договорам. По сути дела, грамота была ультиматумом и последней попыткой избежать конфликта.

Но, отправляя гонцов, Москва уже, очевидно, знала, каков будет ответ. Поэтому одновременно атаману донских казаков предписывалось «идти со всем войском и пушками к каланчинским башням и взять их приступом». Видимо, Москва решила пожертвовать посольством Даудова, ведь его в этих обстоятельствах ждала неминуемая гибель.

Послы прибыли в Азов 1 июля, а 8-го уже начались военные действия. Казаки подошли к крепости большим отрядом и начали ее обстреливать из орудий, вызвав в городе несколько пожаров. Такая поспешность и в самом деле чуть не погубила гонцов. Азовский паша решил, что именно они подстрекали казаков к войне, а сами — московские лазутчики. Даудова арестовали и бросили в тюрьму, Венюков же оказался в руках разъяренной толпы. Его водили по городу, били палками и камнями, плевали в лицо и таскали за волосы. Затем грозили повесить подьячего за ноги на одной из башен напротив казачьих пушек, или отсечь голову — его даже подвели к плахе... Только вмешательство паши, не получившего от султана инструкций, спасло подьячего. Его препроводили в ту же тюрьму, где сидел Даудов.

Более двух месяцев они провели в темнице, а затем отправлены в Константинополь, причем турецкий корабль, переправлявший их через море, попал в жестокий шторм и едва уцелел.

Из Константинополя посланников под усиленной охраной перевезли в Адрианополь, где в то время пребывал султан. Их опять пугали расправой, требуя царскую грамоту, которая, согласно посольскому этикету, передавалась лично султану. Наконец после многих злоключений послы с ответной грамотой были отпущены домой. Даже в таких сложных условиях Даудову и Венюкову удалось добиться выкупа 16 русских, томившихся в турецком плену. За преданную службу, кроме награды деньгами, В. Даудов был пожалован должностью воеводы в Яренский городок, а Н. Венюков из молодых подьячих переведен в среднюю статью с прибавкой к жалованью 15 рублей.

Следующий документ, где упоминается Н. Д. Ве-

* Даудов Василий Александрович (первоначальное имя Алимарцал Бабаев), выходец из Персии. Был толмачом Посольского приказа, несколько раз ездил с посольствами в Константинополь.



нюков, — наказная память, данная Николаю Спафарию* для посольства в Цинскую империю. В документе сказано: «Лета 7183 (1675) февраля в 28 день. Указал Великий Государь царь и Великий Князь Алексей Михайлович... ехати Николаю Спафарию... к китайскому богдыхану в послех. А с ними послано два человека дворян новокрещенных иноземцов... да для письма Посольского приказа подьячие Микифор Венюков да Иван Фаворов».

Об этом посольстве немало написано, однако, роль подьячих освещена слабо. Между тем, именно Венюков и Фаворов были ближайшими сотрудниками Спафария, доверенными лицами во время переговоров в Пекине, помогли ему в исследованиях Сибири и Китая. Исследователи отмечают, например, правильный русский язык сочинений о Сибири и Китае, составленных послем, но известно, что Спафарий, в то время еще плохо владел русским языком, а в письме делал лишь первые опыты. Значит, помогли «секретари».

Возможно, что во время остановки в Тобольске подьячие копировали сочинения «ссылного сербенина» — Юрия Крижанича,** которые Спафарий увез с собой «в двух тетрадях», и которыми, вероятно, пользовался при составлении своих книг. Не исключено, что именно в Тобольске подьячие познакомились с летописными материалами о покорении Сибири Ермаком. Участвовали они и в создании карты Сибири. После путешествия в Китай Никифор Венюков снова работал в Посольском приказе в подчинении у известного дипломата П.Б.Возницына, заведовавшего «гишпанскими, франкскими, туркскими, крымскими, греческими, грузинскими, китайскими и прочими делами». После смерти царя Федора Алексеевича Н.Венюков ездил в Польшу и Австрию «с обещением о вступлении на российский престол Ивана и Петра Алексеевичей».

Подьячего принял польский король Ян Собеский, подробно расспрашивал русского не только о Москве, но и о Китайской империи, которая была для европейцев загадочной землей.

Еще раз он побывал в Польше после того, как польские и австрийские войска на голову разбили турок в сражении под Веной. И вновь Ян Собеский интересовался китайской экспедицией и поручил известному ученому д'Абланкуру составить карту китайских дорог, используя указания Венюкова. Подьячий, кроме того, собрал информацию о положении Турции после поражения, о планах союзников и даже о противоречиях между ними. Благодаря этому, русские дипломаты верно оценили значение похода Собеского под Вену и подготовились к переговорам о так называемом «Вечном мире».

В 1685-м Никифору Венюкову и его товарищу

*Спафарий Милеску Н.Г. (ок. 1636-1707), выходец из Молдавии, переводчик Посольского приказа, автор около 30 произведений, которые разошлись по России в сотнях рукописных списков; путешественник, ученый, дипломат, администратор.

**Крижанич Ю. (ок. 1618-1683), хорват, в 1659 г. приехавший в Москву, а в 1661-м сосланный на 15 лет в Сибирь. Выдающийся ученый-просветитель, политик, экономист. Автор многочисленных сочинений.

И.Фаворову поручили важное дипломатическое задание — послали в Пекин передать грамоту, в которой цинское правительство извещалось о скором прибытии на границу русского посольства во главе с Ф.А.Головиным, в результате чего был заключен первый в истории русско-китайский договор. От этой поездки сохранился дневник — «статейный список», который подьячие вели в пути и во время пребывания в Китае.

Из Москвы они выехали 20 декабря 1685 года. Маршрут проходил через Вологду — Соликамск — Верхотурье — Туринск — Тюмень. По описанию, взятому из старинной рукописной «космографии», Верхотурье — первый сибирский город, «ворота Сибири», выглядел так: «город невелик, каменной, и стены высоки и крепкия башни. Жилцов около того города более 3000. Домов богатых купецких людей много, к тому всякие мастеровые люди имеются...»

От Верхотурья до Япанчина (Туринска) считалось всего 175 верст, но проходили они снежными и «студеными» местами. Сам же городок Япанчин «над Турюю рекою на высокой горы и крутой к реке. Город деревянный. Жителей много и есть богатые купецкие люди...»

В середине 1686 года подьячие прибыли в столицу Сибири — Тобольск.

Здесь гонцы выяснили, что «за великими снегами ехать через Барабинские волости никоими меры невозможно, да и подвод барабинцы для великих снегов не дадут...»

Никифор и Иван, «призвав Господа Бога в помощь, и поговоря со стольником и воеводой» П.С.Прозоровским, все же решили пробираться через степь, взяв провожатыми местных казаков. Маленький караван выехал с Тары и двинулся по направлению к Енисейску. Гонцы отметили в дневнике, что «как ехали Барабинскими и Теренскими волостями, снега были великие и за теми снегами кони многие приставали и на дороге попадали». Но караван упорно шел. «Едучи дорогой к Енисейску рекою Чулымом за последним путем шли пеши, а люди их тянули нарты для того, что многие подводчики з дороги бежали. И от того великую нужду и голод терпели...»

Довелось пережить и кораблекрушение на реке Тунгуске. «Июня в 16 день пришли на Долгой порог, и как судно будет среди порога, на большом залавке, и в то время завоз порвался, и судно опрокинуло, и разбило, и водою налило, и двери у судна выбило вон, и теми дверми у Никифора и Ивана пожитки их и рухлядь вынесло вон, и быстротою все потопило. И насили от такого разбиения... от утопления будучи на дощанике сами спаслись. А которое и осталось, и то от ненастных дней от мочи погнило, и от того пришли в великое разорение. Также и запасы все притонули...»

Только в начале августа 1686 года путешественники добрались до Селенгинска, а в конце октября прибыли, наконец, в Пекин.

Путешествие, длившееся свыше полутора лет, было увековечено подьячими не только в их статейном списке и материалах посольства, предназначенных для узкого круга, но и в особом сочинении: «Описание новья земли Сибирского государства, которое оно вре-



мя и каким случаем досталось за Московское государство, и какое той земле положение».

Оно не носит официального характера, написано не «на заказ». Сведения излагаются свободно, а в основе их лежат преимущественно древние легенды и предания. Вероятно, использованы и неизвестные нам летописи.

Стоит отметить и тот факт, что подьячие впервые в историографии XVII века начали изложение истории присоединения Сибири не с похода Ермака, а раньше — со взятия Казани в 1552 году.

Труд завершается рассказом о Китайском государстве, в частности, описываются «диавольские действия и волшебства» китайских духовных лиц, что, несомненно, было для подьячих сильнейшим дорожным впечатлением.

Как часто случалось в отечественной истории, «Описание новые земли...» было лучше известно на Западе, чем в России. Удалось обнаружить всего шесть рукописей с текстом этого произведения, хранящихся в нашей стране. А издано было только в 1890 году А.А.Титовым и в 1907 в «Сибирских летописях», оба

раза без указания автора.

После длительных и многотрудных путешествий Венюков продолжал службу в Посольском приказе. Опытному подьячему доверяли разбор сложных судебных дел английских, греческих, голландских торговых людей. Без лишней скромности Венюков сообщал в одной из челобитных на имя царя: «служу я, холоп твой, тебе, Великому Государю, исправно лет с двадцать и больше...»

Умер Н.Д.Венюков в 1695 году, до последних дней трудясь «при государевом посольском деле». За свою почти 25-летнюю службу он побывал при дворах турецкого султана, австрийского императора, польского короля, китайского богдыхана и везде защищал интересы Отечества не за страх, а за совесть. Видимо, не случайно на гербе рода Венюковых рядом с воинскими атрибутами изображен «в красном поле всадник на белом коне», который всегда готов отправиться в далекий путь.

Слайды на 2 странице обложки.

«Слоненок» отправляется в библиотеки

Увидела свет первая книжка издательской программы «Павленковская библиотека».

Она не бросается в глаза яркими «диснеевскими» красками-нарядами, не одета в платье из супердорогой бумаги, не кичится заграничной полиграфбазой. Вы даже не найдете в тексте Кипплингова «Слоненка» цветных иллюстраций — только скромные черно-белые. И все-таки это особенный «Слоненок»!

Он открывает счет новинкам малышковой серии «Тропинка» и стал первой в России книжкой, изданной специально для массовых провинциальных читален и с их непосредственным участием. «Слоненком» начинается издательская программа «Павленковская библиотека», затаенная Содружеством павленковских библиотек — региональной общественной организацией, официально оформившейся год назад в Екатеринбурге под флагом ЮНЕСКО.

Сегодня Содружество объединяет на Урале 187 провинциальных читален, некогда затеплившихся в деревнях и поселках по почину и на средства русского издателя-просветителя Флорентия Павленкова и уездных земских управ. Содружество тоже поставило себе целью будить местную инициативу, начала благотворительности, «помочи», земской самодеятельности некогда глубоко коренившиеся в российской жизни и культуре. Не так ли возводили на Руси храмы, устраивали погорельцев, поднимали сирот? Провинциальная и прежде всего сельская читальня — держательница подлинных духовных и культурных ценностей и демократических начал — сегодня нуждается именно в таком участии.

Как появился на свет «Слоненок»? В основном на «медные» деньги самих читален. Совет Содрущества обратился в центральные районные библиотеки трех областей с просьбой о предоплате первой книжки. Это в наше-то время! Когда многие издательские предприятия в силу экономических условий скомпрометировали себя невыполнением обязательств. Могли ли мы рассчитывать на успех?

И тем более необходимо назвать поименно тех, кто первым поверил в затею Содрущества и отдал в буквальном смысле слова последнее. По 50-200 тысяч рублей перевели на счет Содрущества центральные библиотеки Частинского, Осинского, Оханского, Еловского, Кунгурского, Березовского, Суксунского, Октябрьского, Верещагинского районов, г. Краснокамска Пермской области, Верхотурского, Пригородного, Нижне-сергинского районов — Свердловской. 200 тысяч рублей —

все свои сбережения — отдала «Слоненку» верхнетуринская городская библиотека им. Ф. Павленкова. Миллионным вкладом отозвалось Пермское областное управление культуры. Им — первым! — наш низкий поклон и признательность!

Небольшими, но очень своевременными взносами помогли «Слоненку» встать на ноги екатеринбургский благотворительный фонд «Россия — наш дом», екатеринбургское же ТОО «Кузнецы» и земельный филиал СКБ-банка.

За символическую оплату любовно и охотно оформила рисунками книжку Р.Кипплинга художник Евгения Стерлигова. Ее книжную графику хорошо знают и любят ценители прозы Владислава Крапивина.

Почти бесплатно пользовались мы различными услугами сотрудников редакции журнала «Уральский следопыт», под чьей крышей и созрело Содружество, а также художника-дизайнера Марии Баженовой.

Отпечатан «Слоненок» в типографии уральского города Асбеста.

Словом, хочется благодарно обнять всех, кто так или иначе причастен к рождению «Слоненка», а значит и к истокам издательской программы «Павленковская библиотека».

На собранные средства нам удалось отпечатать 10 из 30 тысяч экз. тиража. Департамент культуры администрации Свердловской области обещает помочь в тиражировании остальных 20 тысяч.

Теперь «Слоненок» отправляется в читальни. По два экземпляра книжки бесплатно получают все 187 павленковских библиотек — участники Содрущества. Массовым библиотекам трех уральских областей — Свердловской, Пермской, Челябинской (исключая те из них, что внесли предоплату), книга будет продаваться по 900 рублей за экземпляр, то есть почти по себестоимости. Очень надеемся, что попадет «Слоненок» и в школьные библиотеки. По свободной цене (а она тоже невысока) книжку можно купить в областных научных и детских библиотеках Екатеринбург, Перми и Челябинска. Ведь на очереди новые книжки серии «Тропинка»: русская былина «Бой Добрыни с Ильей Муромцем», рассказ Н.Носова «Мишкина каша»... Купив нашего «Слоненка», вы не только обрадуете своего малыша, но и поможете подняться с колен сельской библиотеке.

Ю.Горбунов, председатель Совета Содрущества павленковских библиотек.



Владислав ДЕБЕРДЕЕВ

«ФАРТ» МИХАИЛА СУРГУТАНОВА

Зимой казахская полустепь-полупустыня сплошь выбелена снежным покровом, затрудняющим ориентировку. Унылое однообразие лишь кое-где нарушалось невысокими курганами да крылатой тенью, скользившей по земле черным призраком.

По-2 пилотировал Михаил Сургутанов — двадцатитрехлетний летчик из отряда аэрогеологии Уральского геологического управления. Он летел уже более полутора часов и решил, что пора уточнить местонахождение.

Достал планшет с маршрутной картой и отыскал на ней единственный в этих краях ориентир — точку кургана, под которым по преданию похоронен казах Сарбай — в прошлом хозяин здешних мест. Вершину кургана местные жители когда-то давным-давно поместили большим камнем. Похоже, вон там впереди, слева по курсу, и вырисовывались очертания Сарбайского ориентира. Михаил бросил беглый взгляд на компас и вдруг заметил, что стрелка ведет себя как-то странно — мотается туда-сюда.

Заинтригованный этим, Сургутанов вторично провел машину над тем же местом. И вновь повторилась та же картина: отклонение стрелки составляло от 30 до 60 градусов! Последующие заходы подтвердили наличие некой аномалии в непосредственном соседстве с курганом Сарбая.

Это произошло 12 февраля 1949 года. Случай положил на-

чало большим событиям и переменам в здешних краях.

Сургутанов уже три года обслуживал геологические партии и понимал важность их поиска.

За 1418 дней войны наши железорудные запасы были сильно истощены. Особенно месторождения тыловые и прежде всего Урала. Достаточно вспомнить Танкоград, Нижний Тагил... Металлурги невесело шутили: «Была гора высокая, а стала яма глубокая»...

Вот почему после войны здесь начались интенсивные поиски железорудной базы. Десятки разведочных партий Уральского геологического управления буквально «рыли землю» на Тюменщине, в Казахстане и других приуральских краях.

И вот почему авиатор Михаил Сургутанов, едва приземлившись у базы «родной» геологической партии, сообщил своим наземным коллегам об аномалиях в районе Сарбайского кургана.

Сообщение чрезвычайно заинтересовало специалистов, ученых. На место отправились группы геофизиков. Результаты многопрофильной работы превзошли все ожидания. Сарбайско-соколовское месторождение оказалось исключительно удобным для промышленной разработки. Неглубокое залегание магнетитовых руд позволяло вести добычу открытым способом. А общие запасы сарбайской и соколовской руды следовало расценивать как крупнейшие в мире!

Заявка на открытие нового месторождения была зарегистрирована в Государственном комитете за номером 1001. Как тут не вспомнить о знаменитых арабских «Сказках 1001 ночи», о хранившихся в недрах пещеры богатых сокровищах, которые были обнаружены тоже чисто случайно и доступ к которым был закодирован волшебным словом «сезам»: Сезам, откройся!..

К числу достоинств «Сезама № 1001» следовало отнести и его расположение, географически выгодное для черной металлургии Урала. Месторождение расположено всего в 160 километрах от Магнитогорска, в 240 — от Челябинска, в 560 — от Нижнего Тагила.

Уже через несколько (в 1957 году) лет возник мощный Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат, а рядом с ним — многоэтажный город Рудный.

Между тем Михаил Сургутанов, расставшись с летной практикой, работал диспетчером службы движения в свердловском аэропорту Кольцово. Здесь и застала его правительственная весть: в составе большой группы специалистов-первооткрывателей нового месторождения он стал лауреатом Ленинской премии.

Вот уж поистине и открытие, и награда упали с неба...

г. Екатеринбург



Станислав КОСОЛАПОВ

ЗАБАВЫ «ТОПСТЫХ»

Все свободное время я пропадаю в институтском клубе, где был своим человеком. Однажды увязался за клубным завхозом, который маялся с инвентаризацией своего хозяйства, и попал в его таинственные кладовые. Порядок в них царил полнейший: под потолком на плечиках висели костюмы, на полках был аккуратно расставлен богатый реквизит, на стенах развешаны музыкальные инструменты.

И тут я увидел Его. Он висел в темном углу, тускло серебрился давно не чищенными боками, но совсем не потерял своего молодого задорного вида, не поддался превратностям судьбы и времени, забросившим его сюда.

С трудом дотянувшись, я снял его с гвоздя, подошел к окну и стал разглядывать.

— А... «космополита» нашел, — протянул завхоз, глянув в мою сторону.

— Почему космополита?

— Одним словом — «музыка толстых». Эта штука еще с довойны висит...

Я держал в руках настоящий саксофон, живой, натуральный, который видел когда-то только издали в руках солидных, вальяжных, породистых, по моим меркам, музыкантов. Они, как бы нехотя, лениво и небрежно извлекали сказочные звуки — сочные, неземные и какие-то человеческие, одновременно лукавые и озорные, меланхолические и насмешливые, грустные и хохочущие. Звуки этого инструмента могли ввергнуть в тоску и завести в разухабистое веселье. Это был тот странный инструмент, который стоит особняком от классических и народных, и в то же время он, по моим понятиям, был молодым, современным, своим...

Он оживал и притягивал какой-то таинственностью, недостижимостью. И вот он у меня в руках.

— Можно, я его возьму?

— Возьми. Я на тебя его запишу, только директора клуба поставь в известность. Зачем он тебе?

— Попробую научиться играть.

— Ну, ну. Дерзай.

В общаге саксофон произвел впечатление. Не один я — никто не держал в руках этой диковинной штуки. В комнату не протолкнуться. Толпа в коридоре. Сыплются вопросы, на которые никто не может ответить: как играть, на что нажимать, куда дуть и почему звук не получается.

Появился Хмырь. Он лет восемь подряд (хотя в институте учатся пять, максимум шесть лет) «избирался» председателем студкома. Неприятный тип. Жил в отдельной комнате, что по тем временам было немислимой привилегией. В учебных аудиториях его не видел никто, зато в спортивных залах он постоянно в секции борьбы. Дружбы с ним никто не водил, его сторонились. Все знали, что он «стукач». Он тоже знал, что мы это знаем, и всех это устраивало. Уверенно рассекая плечом толпу, Хмырь продвигался ко мне. Пораженный увиденным инструментом, скоплением молодых людей, неординарностью и неожиданностью события, на мгновение растерялся, потерял дар речи, но только на мгновение. Обвел присутствующих взглядом, как бы запоминая участников.

— Чья хреновина?

— Моя.

— Где взял?

— В клубе института.

— Кто организовал митинг? Ра-зойдись! Дай дудку сюда!

— Это не митинг, а любопыт-

ствующие посмотреть живьем саксофон, и его я тебе не дам!

— А-а, саксофон, «музыка толстых»! Инструмент международного империализма! Это пропаганда буржуазной культуры! Это политическая акция, и ты мне за это очень даже ответишь!

Я совершенно не предполагал такого развития событий и, вдруг, почувствовал, что у меня, как у молодого козлика, вырастают рожки упрямства, и еще больше захотелось во что бы то ни стало научиться играть на саксофоне. Но где? У кого?

Сначала нужно надежно спрятать инструмент — Хмырь уведет. Но как спрятать в комнате, где все как на ладони: стол, стул, тумбочка, чемодан. Стоп. Чемодан!

У одного обитателя нашей комнаты был громадный, окованный железными полосами чемодан-сундук с висячим замком. Хозяин сундука был родом из глухого уральского поселения, где испокон веков мыли золотишко. Парень этот за летний сезон намывал себе сколько-то, сдавал, а вместо золота получал так называемые «бонь», которые в специальных магазинах отоваривались. Время было послевоенное, голодное. Он отоваривался непортящимися продуктами, закрывал их в своем сундуке, а когда все ложились спать, доставал припасы и подкреплялся. Аромат копченостей сводил с ума. Это было для нас мукой. Однажды терпению наступил конец, мы взмолились: «Перестань мучить!» Никакого понимания. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам — забить отверстие для ключа на его амбарном замке. Долго он мучился, спиливая запор, но главное понял — одуряющие запахи исчезли из нашей комнаты.



Без всякой надежды на успех я обратился к этому парню с просьбой спрятать саксофон в его теперь уже пустом сундуке и неожиданно получил «добро» с условиями: купить новый замок и почистить инструмент, что было совершенно справедливо.

С большой любовью я драил зубным порошком лихие конструкции моего приобретения и в благодарность получил сверкающее чудо, которое, казалось, светится даже в темноте.

Хмырь искал, вынюхивал, расспрашивал, но безуспешно. Студенческая солидарность работала безукоризненно. Он сбился с ног. На его вопросы серьезно отвечали, что такого инструмента в природе не существует, или, что он путает саксофон с геликоном, или, что он занимается вредной агитацией в пользу акул империализма.

А я не знал, с чего начать обучение, к кому обратиться. Побежал в институтскую библиотеку — никакой информации, хоть бы самоучитель, что-ли... Узнал из энциклопедии, что саксофон изобретен бельгийским мастером Альбертом Саксом, запатентован в 1845 году, что семейство саксофонов состоит из семи разновидностей от сопрано до контрабаса, что композитор А.К.Глазунов написал концерт для альтового саксофона и струнного оркестра, что саксофон использовал в своих произведениях Рахманинов. Вся информация.

Нашулав связи — двинул в музыкальное училище, где меня полдня передавали с рук на руки и по углам шепотком отоваривали от сумасшедшей идеи, а под конец сообразили, что саксофон запрещенный инструмент, в общем — «музыка толстых». Правда, я с удивлением узнал, что принцип игры на саксофоне и кларнете один и тот же, но в «саксе» научиться легче, что и обнадёживало, и придавало силы. В консерватории будущие классики покровительственно измывались надо мной, изрекая на своем птичьем языке: сообрази, наконец, каков интервал твоего инструмента — от общего диапазона ре большой октавы? Я стеснялся сказать, что я

их не понимаю, что сам даже звука своего инструмента не слышал. Лучшее, что я мог им сообщить — это показать руками размер инструмента, чем приводил их в неописуемый восторг. Наконец мне сказали: — «Слушай, парень, от греха подальше забудь про саксофон. Это НЕ НАШ инструмент, и музыку на нем играют НЕ НАШУ, а «музыку толстых». На этот инструмент наложено ТАБУ. Понял?»

Я понял, но это только подхлестнуло. Эта идея стала идеей фикс, навязчивой и неотступной, она стала мечтой.

Мои поиски не были напрасными. Я нашел себе учителя! Им оказался толстый, сильно лысеющий, неторопливый в движениях и речи, толстогубый, породистый, словом — полное мое представление о саксофонистах, Аркадий Павлович из ресторанного джаз-оркестра. Он удивился моей настойчивой фантазии в «такое время», повертел в своих пухлых руках инструмент, достал из коробочки бамбуковую пластинку — «трость», облизал ее, закрепил в клювообразный мундштук, еще раз похлопал трость, как бы примериваясь, и... Я, наконец, услышал голос моего чуда. Он зажурчал, как ручеек, хохотнул грудным человеческим голосом, чтобы вмиг зарыдать тоскливой грустью, а затем закашляться синкопами веселенькой россыпи с замирающей усладой. Господи! Неужели я тоже смогу когда-нибудь так! А я дул в эту дыру, нагонял ветер! Идиот! Нужна трость — и все дела! Сейчас я возьму и пройду по клавишам... Вы слышали рев ишака? Скажу, что это — музыка по сравнению с теми звуками, что произвел я. Кошмарный ужас! Я сам испугался того, что вырвалось из трубы несчастного саксофона. Аркадий Павлович даже бровью не повел.

— Альтушка хороша.

Значит, это альт — наматывал я на ус.

— Учить тебя я буду бесплатно. Условие — на занятия без опозданий. И не спейся. Все-таки ресторан.

— Да я не пью!

— Все вы сначала не пьете... А

мы, саксофонисты, вымираем... Заметил, что молодых нет? Что осталось, так это в кинотеатрах перед сеансами и мы в ресторанах. Чуть какая-то — в запрете саксофоны и банджо. Забили всем головы — «музыка толстых», значит вся остальная «музыка тонких», что ли? Не боишься? Могут быть неприятности. У нас все может быть.

— Посмотрим.

— Посмотрим, посмотрим. Свернут они тебе башку...

— Кто — они?

— Когда будут сворачивать, тогда и узнаешь — кто. Трости я делаю сам из бамбука. Дам тебе одну. Береги. Держи в коробочке. Ну, начнем с богом! Будем тянуть звук. Должно быть ровно, негромко, использовать все дыхание. Куришь?

— Нет.

— Это хорошо.

Где же мне заниматься? В общаге, конечно, другого места нет. Вечером нельзя — всех сведу с ума, значит днем, когда все на занятиях. В институте придется что-то пропускать.

Я закрывался в комнате и тянул звук. В дверь барабанил Хмырь, грозил. Я не отвечал — тянул звук.

В перерыве между лекциями ко мне подлетела Ленка — штатный писарь институтского комитета комсомола.

— Тебя вызывают на бюро. Сегодня в 15 будь.

— По какому вопросу?

— Там узнаешь.

Нас в приемной трое. Все с одного факультета. Одного я почти что не знал. Он как-то все держался особняком, был нелюдим. Зато другой — личность известная и популярная не только в институте, но и в городе. Заводила, аккордеонист, сочинитель развеселых студенческих песен, про любовь и все такое. Его песни на «ребрах», так назывались самодельные пластинки, изготовляемые на рентеновских снимках, ходили по городу, и достать их было невозможно. Ну, и третьим был я.

Когда вызывают на бюро в институтский кабинет — это всегда серьезно и опасно. И мы это понимали. Решения комитета ломали судьбы людей, непредсказуемо изменяли жизненные дороги в ту или



иную сторону. В основном — в ту. Это очень опасно...

В предбаннике комитета тишина. Ленка, чему-то улыбаясь, одним пальцем тычет в клавиши пишущей машинки, поминутно глядя то на клавиатуру, то на бумажный лист. Печатанье ей доставляет явное удовольствие. Двери в комнату бюро двойные, внутренние — простые, а наружные обиты дермантином с пуговками. Наружные двери неисправны и все время в приоткрытом состоянии, из-за чего можно при старании разобрать, о чем там идет речь.

А там небольшой перерыв, оживление, расслабуха. Там отдыхают, чтобы с новыми силами приняться уже за нас. Там не подлежит сомнению, что они почему-то имеют право быть вершителями судеб таких же, как они, молодых людей, что они почему-то имеют право определять: кто наш, кто не наш, какую музыку мы должны слушать, а какую — нет, какие танцы мы должны танцевать, какие штаны и прически носить, что читать, дать или не дать возможность развестись без последствий или с последствиями аспиранту или студенту, прервать в зародыше разгорающуюся любовь нашего студента со студентом иностранным, наказать за неявку на демонстрацию или субботник...

У Ленки все-таки удалось кое-что выведать: молчун Патрушев оказался каким-то сектантом и скрыл это при поступлении в институт; заводила Аркаша обвиняется в распространении несанкционированных песенок, ну а я — за пропаганду «музыки толстых».

За дверью установилась официальная тишина. Перерыв кончился. Первым вызвали Патрушева. Он нехотя побрел, приговаривая:

— В Евангелии сказано: «...и вложили они персты в язвы...»

Суд был скор.

— Почему ты скрыл свое отношение к богу?

— Меня бы не приняли в комсомол и соответственно в институт.

— Выходит, ты сознательно обманул всех?

— Выходит, сознательно. Темна вода в облаках...

— За сознательное проникновение в наши ряды чуждого вражеского элемента исключить Патрушева из рядов ВЛКСМ, рекомендовать администрации отчислить его из института по моральным соображениям. Кто — за? Против? Единогласно.

— И возвращается ветер на круги своя...

— Это ты о чем?

— Это из Библии.

— Следующий!

Очередь была Аркаши, и он двинулся, ворча: — «Что они накрутят?»

По возбужденным голосам за дверью было понятно, что комитетчики завелись. Злые голоса сыпали впропусы.

— Как ты относишься к Вертинскому и Лещенко?

— Ты знаешь, что они враги советской власти?

— Они ушли в стан белогвардейцев!?

— А Лещенко сотрудничал с немцами!?

— Мы изъяли во всех общежитиях горы «ребер» Вертинского и Лещенко, а вместе с ними и твои песенки. О чем это говорит? Это говорит о том, что ты сомкнулся с врагами страны!

— Я пластинки не произвожу и не продаю, — огрызнулся Аркаша.

— «В сиреновом саду сиреневый туман...» твоя песенка?

— Моя, а что в ней плохого?

— Ты пропагандируешь упадничество, ты разлагаешь молодежь, ты встал не на ту сторону баррикад. С белогвардейцами!

— А вы хотите, чтобы молодой человек пел своей девушке: — «Звезды мира, звезды пятилеток зажигает наш рабочий класс!» Да? Это все равно, что в комнате общаги танцевать с девушкой «па-дэспань». Ленка, видимо представив такую ситуацию, весело хихикнула. Члены бюро за дверью озверели. Поднялся гвалт. Ничего не разберешь. Когда все утихомирились, председательствующий вынес приговор:

— За пропаганду чуждой нам идеологии, разложение, упадничество, смыкание идейных позиций с врагами нашей страны исключить

из рядов ВЛКСМ и рекомендовать администрации института отчислить из рядов студентов.

— Вы что, с ума сошли? Я же выхожу на дипломирование! — взмолился Аркаша.

— Раньше надо было думать. Кто — за? Против? Единогласно. Следующий!

А следующий-то — это я.

Разгоряченные члены бюро устали на меня злыми, еще не остывшими от предыдущей расправы взглядами. Зашуршали бумагами.

— Читаем докладную: «Такой-то с такого-то числа в общежитии занимается пропагандой «музыки толстых» на инструменте, полученном в клубе института, под названием саксофон. При демонстрации инструмента собирает большое количество любопытствующих, которые агрессивно реагировали на попытку изъятия буржуазного инструмента. Пропаганда буржуазного образа жизни продолжается в виде звуков, несмотря на мои предупреждения». Вот так. Документ.

— Предлагаю пригласить на заседание директора клуба.

— Правильно. Что можешь добавить к вышеизложенному?

— На саксофоне я играть не умею.

— Как это «не умею»? Зачем взял?

— Чтобы научиться играть.

— Вот. Чтобы пропагандировать «музыку толстых», которую еще Алексей Максимович Горький осудил и пригвоздил к позорному столбу. Так и проникает в наши ряды чуждая нам, так называемая культура, отравляются неокрепшие души молодых людей. Ты проводник буржуазной идеологии. Тут все ясно.

«Вот это да! Вот куда дело-то поворачивается, — судорожно соображал я. — Вот кто мне свернет башку. Надо же спастись! Но как?»

— Я еще и играть-то не умею, — тянул я время, — только начинаю тянуть звук.

— Из звуков складывается музыка — не наша музыка!

«Что же делать? — крутилось в голове. — Стоп, а если попробо-



вать...»

— Скажите, а композитор А.К.Глазунов наш или не наш?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, запрет на него есть или нет? Да и на Рахманинова тоже?

— Это ты к чему?

— Композитор А.К.Глазунов написал концерт для альтового саксофона и струнного оркестра. У меня как раз альт. Да и Рахманинов использовал саксофон в своих произведениях, — выкладывал я из энциклопедии. — Может быть, я этот концерт и буду играть.

— А ну, подожди за дверью. Позовем, когда надо будет.

Я вышел. Ключуни. Появилась надежда. Через дверь слышно, как они звонят в консерваторию, как расспрашивают о А.К.Глазунове, Рахманинове, о спасительном концерте для саксофона и струнного оркестра. К своему великому удивлению я узнал, что А.К.Глазунов после революции и до 1929 года был директором Петербургской консерватории и что ему было присвоено звание народного артиста Республики. Ну, молодец А.К.Глазунов, ну умница! Похоже он вытянет меня. Говоривший по телефону громко повторял получаемую из консерватории информацию для протокола.

Появился директор клуба Сергей Петрович, которого мы между собой звали Сэр Пэр. Это уже далеко не молодой человек, фронтовик, о чем свидетельствовали орденские колодки и нашивки за ранения. Он был добрый, свой в доску мужик, но несколько сломленный, что ли. На то были свои причины, и мы их знали: из родственников у него был один только брат, который на беду во время войны попал в плен, а после войны из немецкого плена прямоком был направлен в наши лагеря. Хлопоты по его вызволению были энергичны, но с какого-то момента он замкнулся и как-то притих.

Сэр Пэр выслушал мою историю в очень кратком изложении и резюмировал: — «Вляпался ты, парень...»

И вот мы уже вдвоем перед ясными очами комитетчиков. Атмосфера явно изменилась, ярость и оловянность в глазах погасли, даже появилось какое-то любопытство.

— Как у вас в клубе появился саксофон?

— Он у меня на балансе числится еще с довоенных времен.

— Вы, как директор клуба, знакомы с постановлением ЦК ВКП/б/ от 10 февраля 1948 года «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели?»

— Так точно. Обязательно. Партия в постановлении совершенно справедливо ставит вопрос о проявлении формализма, об ограничении и обеднении творческих возможностей, которые уводят на путь создания безыдейной, эмоционально выхолащенной музыки. Постановление партии способствует активизации творческих сил, углубляет и расширяет творческие задачи, — всю эту тяжеловесную тираду Сэр Пэр отчеканил на одном дыхании, да так бодро и лихо, как будто всю жизнь готовился выпалить ее на этом бюро, и вот эта счастливая минута наступила.

Члены бюро озадаченно притихли, потеряв было нить допроса.

— Почему вы не уничтожили инструмент? — пришел в себя председатель.

— Это материальная ценность. У меня каждый год проводится инвентаризация, никаких указаний, циркуляров или приказов на этот счет не поступало. Ежели вы примите такое решение — проявим бдительность.

— Вот, вот! — обрадовались подсказке комитетчики. — Мы такое решение и примем! Сегодня же, под вашу личную ответственность, инструмент из общежития изъять, уничтожить, составить акт на ликвидацию. Акт и останки инструмента принести на заседание бюро. Вы свободны. Действуйте.

День был ослепительно солнечный. Уже чувствовалось — скоро весна. Свежевыпавший снег весело искрился под ногами, чуть поскрипывая, как бы говоря: — «Радуйся!

Ведь обошлось, не выгнали из института! Пронесло!» А радости не было.

За всю дорогу до общежития и обратно мы с Сэр Пэром не произнесли ни слова. Я не стал заворачивать саксофон в одеяло — к чему? А он под лучами зимнего солнца сверкал, привлекая прохожих серебром причудливых конструкций, вольными изгибами заихватских форм.

У главного корпуса института Сэр Пэр остановился перед фонарным столбом и сказал глухо: — «Давай, ликвидируй».

— Почему я?

— Отставить сантименты! Действуй! — жестко повторил Сэр Пэр. Я размахнулся и стукнул саксофоном по столбу. Мягкий глухой звук и небольшая вмятина на боку — результат моих усилий. Я не мог. Я не думал, что так тяжело убить своими руками мечту. Может быть, навивную, может быть, еще детскую, но мечту. Я гладил вмятину на холодном металле, слово извинялся за причиненное повреждение.

— Дай сюда, — вывел меня из шока голос Сэра Пэра.

Решительным движением он схватил инструмент и несколько раз зло ахнул им по столбу. Серебряными звездами весело сверкнули на солнце многочисленные клапаны и рычажки, измятой консервной банкой сжалась труба...

Члены бюро заметно оживились при нашем появлении, прочитали акт на уничтожение, осмотрели останки.

— Вот теперь другое дело.

— Постановление: за пропаганду буржуазной культуры и инструмента под названием саксофон объявить выговор и предупредить. Кто — за? Против? Единогласно.

— Зайдем ко мне, — неожиданно в коридоре предложил Сэр Пэр.

Мне было все равно. Я был как ватный. Хотелось спать.

В кабинете Сэр Пэр закрыл двери на ключ изнутри. Из письменного стола достал солдатскую фляжку, вылил содержимое в два стакана и сказал: «Не чокаемся!»



Алексей КОЖЕВНИКОВ

ПРИШЕЛЕЦ ИЗ ТРЕТИЧНОЙ ФЛОРЫ

События происходили в конце марта 1990 года. На курсах повышения квалификации лесников ко мне подошел мой земляк из Аши. Зовут его Валерий Волков. Аша — это самый западный город Челябинской области или самый восточный европейский юго-западного Предуралья. Валерий-то и сообщил мне эту поразительную новость.

Работая несколько лет в Аше шофером автобуса, он исколесил по горам весь район и случайно ранней весной, где-то в конце апреля увидел на базаре в Миньяре самый настоящий букет из веточек рододендрона даурского — древнейшего из растений. Оказывается, им почти каждую весну торгуют местные старушки. С того момента и до настоящего времени многие растениеводы потеряли покой и мечтают разыскать посланца третичной флоры в природных условиях.

Сведения об уральском «аленьком цветочке» были неожиданными для ботанических кругов. Этот вид на Урале не описан. Последнее его западное местообитание — Горный Алтай. А он, оказывается, живет себе здесь, в Аше, уже несколько миллионов лет!

Что же представляет из себя этот таинственный незнакомец? На Дальнем Востоке рододендрон даурский не правильно называют багульником, хотя оба ядовиты и представляют одно и то же семейство вересковых. Багульник можно часто встретить на болотах Свердловской области. Не лишне только будет напомнить, что слишком долго находиться рядом с багульником не следует, так как его эфирные масла оказывают даже дистанционное поражение, не говоря уже о приеме внутрь. Бывает, что отравляются сборщики голубики, расту-

щей по соседству на болоте. Эфирное масло багульника конденсируется на поверхности ягод в виде сизого налета. Мне почему-то приходят на память слова из некогда популярной песни: «Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо...» Почему на сопках, если место багульника на болотах? Может быть, эта песня про рододендрон? Да и цветки у багульника болотного не такие уж яркие, а обычные белые.

Рододендрон даурский более эпитичен, а его цветки никого не оставят равнодушным — они малиново-красные и появляются ранней весной, в конце апреля — начале мая (в зависимости от года) до распускания листьев, когда в лесу голым-голо. Не заметить кустарник до метра высотой, ярко раскрашенный соцветиями, просто невозможно. Его отлично знают и пчелы. Из всех рододендронов только у даурского мед не токсичен.

На земном шаре встречается несколько сот видов рододендрона, а на территории СНГ — около двадцати. Большинство из них растет на Дальнем Востоке. Почти все виды кустарника зацветают очень рано, с наступлением первых теплых дней, с оттаиванием почвы. Окраска крупных цветов от розово-фиолетовой до желтой. Наиболее изучены самые распространенные — золотистый, даурский и кавказский.

В листьях рододендрона даурского содержится ядовитый гликозид-андромедодоксин. Видимо, благодаря своей токсичности у него и есть небольшой шанс выжить. Домашние животные и лесные звери его не трогают. Цветет он так рано, что редко кто появляется в это время в лесу. В остальное время года — это неприметный зеленый кустарник с листьями, похожими на листья брусники.

Селиться рододендрон в труднодоступных местах, чаще всего на скалах среди сосен. Впрочем, мне ведь тогда так и не удалось увидеть «живьем» этот экзот ашинского леса, хотя вся первая декада мая была потрачена на его поиски. Скорее всего, он отцвел раньше.

В лесхозе в это время шла интенсивная посадка молодого леса. Лесник Волков, освободившись к вечеру, несмотря на усталость, мчался вместе со мной и со своим сыном Димой на Снеговые горы. Дима оставался охранять «Запорожец» и заодно готовиться к выпускным экзаменам по химии. А мы не торопясь бродили по просыпающемуся от зимней спячки лесу. Но какому лесу! Нагромождение камней на Снеговых горах — следы проявления каких-то неведомых сил. Снег лежит до июля. Узкое ущелье заканчивается продолжительным тупиковым склоном северной экспозиции. Каменно-лесной мешок — склоны с южной, западной и восточной сторон. В центре ущелья отвесные скалы, как острые зубы дракона. Внизу бежит ручей, оживляя своим журчанием вечерние сумерки. Иной раз думаешь: неужели это у нас на Урале? Настолько разнообразен состав пород: их количество доходит до шести в каждом выделе. А растения под ногами — сплошная Красная книга: фиалка трехцветная, тюльпан Биберштейна, ветреница дубравная и другие. Что еще надо, чтобы создать здесь природный региональный парк с соответствующей охраной и регулируемым туризмом? Может, только и не хватало рододендрона даурского — пришельца из третичной флоры?..

На обратном пути заехали к старому охотнику, живущему в Аше с 1925 года, Юрию Еремину. К



счастью, он оказался дома. И назавтра мы были уже за 60 км от Аши в кварталах, где вот уже пять десятков лет охотился наш проводник.

Он не переставал удивлять нас своими комментариями: «Вот здесь рысья тропа через речку. А вот тут в западинке проходят волчьи свадьбы. А там свои следы оставил леспрохвост (так он окрестил леспромхоз за его деяния)». Далее следовал рассказ о том, какие были на Ашинке места, пока вездесущий леспромхоз не срубил и не вывез красоты здешних мест — еловые древостои.

Незаметно подъехали к таинственным ашинским «декорациям». Это наслаивающиеся друг на друга склоны гор с характерными террасами с выходом ближе к вершинам наружу известняковых пород различной крутизны. Лес на меловых горах — это уже памятник природы.

Совсем недавно эти места были заселены. Ивановка и Решетово превратились в лесные поляны, безуспешно зовя и маня сюда людей, задыхающихся в большом городе и окончательно теряющих связь со своими корнями и происхождением. Кто мы, зачем родились, сосредоточились на асфальте, когда вокруг еще достаточно места для приложения своих сил? Зброшенные лесные поселки ждут своих новых обитателей — пчеловодов, специалистов народных промыслов, наконец, фермеров. Будут ли те, кто придет, беречь красоту Ашинки, приумножат ли богатства ашинского леса? В чьи руки упадут «декорации» Ю.Еремина?

Человека всегда волновали две вещи: что было до него и что будет после. Связь времен всегда необходима. Как растение не может нормально развиваться без почвы, без корней, так и человек духовно умирает без знания своего прошлого. Он и изменяется вместе с природой. Предвидя ход событий, можно уменьшить количество зла, от которого порой зависит здоровье твоих близких, а иногда и целого города.

Наш уральский лес, как человек после болезни, залечивает свои раны, восстанавливает свои силы, у него

должен быть щадящий режим, но последнее условие по-прежнему не выполняется. Повсеместно нарушена непрерывность в лесопользовании. Лес уже не тот, что был десять лет назад. Широколиственные породы уступают свои площади мелколистственным березе да осине. Когда человек был нечист на руку и в чем-то провинился, то ему в отместку ставили на могиле осиновый крест. Если мы будем и дальше варварски относиться к нашим ресурсам, в том числе и лесным, уже изрядно истощенным, то всем достанется всего лишь по кресту из осины. Были и нет. Кто вспомнит и как вспомнит?

Горно-таежный лес Юго-Западного Предуралья исторически нес почвозащитные и водорегулирующие функции. Глубоко вклиниваясь в территорию Башкортостана, Ашинский район замкнул на себе горный лесохозяйственный регион хвойно-широколиственных лесов, лесостепной — хвойно-лиственных пород и центральный горный — березово-сосновых. На широте Аши не найти такого леса по всей России. В других местах только степь и лесостепь. А здесь горы сделали свое дело, протянув тайгу далеко на юг, а степные виды, наоборот, на север. Если бы развернуть Уральские горы с востока на запад — намного было бы теплее, особенно для плодовых культур. В Аше хребет Каратау как раз это и демонстрирует — весь район с севера защищен им от холодных ветров. Земля Санникова да и только.

Уфимское плато вплотную прилегает к Ашинскому району. На северо-востоке республики (эта территория примыкает к рододендроновым местам в Аше) горные сосняки носят несколько островной характер, встречаются буквально пятнышками на карте и далее в отличие от равнинных лесов содержат в себе целый комплекс реликтовых видов.

В Ашинском и Уском лесничествах Ашинского лесхоза естественные сосняки встречаются всего лишь на нескольких гектарах. Эти насаждения очень древние — неогеновые.

Юго-Западные предгорья Урала

тоже стали прибежищем древних широколиственных лесов, представляя собой фрагмент доледниковой тургайской вечнозеленой и листопадной флоры. Двенадцать миллионов лет назад территория Уфимского плато была занята широколиственными лесами. Затем, в связи с общим похолоданием климата начал внедряться бореальный комплекс елово-пихтовых лесов. Но процесс внедрения был очень длительным — широколиственные породы прочно удерживали свои позиции. До сих пор под пологом смешанных хвойно-широколиственных и даже хвойных насаждений можно найти типичные неморальные реликты: коростаник татарский, цицербиту уральскую, копытень европейский, ясеник пахучий, наперстянку крупноцветковую, осочку волосистую...

В то далекое время в пределы Уфимского плато с востока начинали внедряться восточно-сибирские сосново-лиственные леса. Реликтовым остатком этого периода и являются островные площади сосны и лиственницы, а также ряд исторически и экологически свойственных им травянистых видов (адонис сибирский, соснорея спорная, соснорея малоцветковая, зигадемус сибирский, ясложка даурская и др.).

Пожалуй, ясложка даурская — еще один козырь в пользу наших поисков родства с Дальним Востоком. Дело теперь за малым — найти рододендрон даурский во время его цветения. Ведь настоящая наука — это новые факты и сопоставление их с ранее известными. Чтобы сохранить себе и другим жизнь в Ашинском районе, рододендрон не спеша раскрывает себя, еще не представляя, как люди распорядятся его судьбой. Сохранят или уничтожат под гусеницами? Все дороже и дороже приходится платить за жизнь под солнцем. Ашинский лес открывает свои тайники, предлагая выкуп за свою жизнь. Не обманут ли его люди, умерят ли свою алчность и предпринимательский пыл?

Фото на 3 странице обложки.



Рододендрон золотистый. Слайд П. Горбунова.



Рододендрон даурский. Фото А. Кожевникова.

Читайте на стр. 79 очерк Алексея Кожевникова
«Пришелец из грегичной флоры».

Борисов

